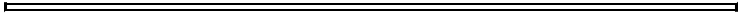


- [Наумович Иоанн](#)

-



Наумович Иоанн Путеводитель доброй жизни (Страх божий, Мудрость, Трезвость, Труд)

Священник ИОАНН НАУМОВИЧ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДОБРОЙ ЖИЗНИ
СТРАХ БОЖИЙ
МУДРОСТЬ
ТРЕЗВОСТЬ
ТРУД

Наука посадского Онуфрия
Грушкевича внуку своему Николаю

Онуфрий Грушкевич - наилучший
хозяин не только в своем посаде, но на
весь околоток. Обойди хоть на сто верст
кругом все посады и села - не найдешь
нигде ему равного. Сказывают, будто ему
уже сто лет отроду - без году или с годом,

- но это пустые речи, народ болтает зря, как это зачастую у нас водится. По записи в церковной метрике, выходит, что ему восемьдесят два года, и во всем посаде только двое еще его сверстников: Семен Покотило да слепая Марьюшка. Но и те ему уже не под пару: Семен четыре года не слезает с печи и во рту у него ни одного здорового зуба, Марьюшка десять лет ничего не видит, сидит, скорчившись, на постели в избе у внука, насилу может пройти с костылем до порога да прошепелявить Отче наш. А Онуфрий еще даже не совсем сед, зубы имеет крепкие, сам ведет хозяйство, зимой и летом во всякую погоду ходит в церковь, хоть она у нас на крутом пригорке, поет всю службу; паремий и Апостола никто так громко и внятно не прочтет, как он. Оттого-то в народе много всяких толков и про его года, и про богатство. Одни сказывают, будто он вырыл медный котел с золотыми, другие, которые поумнее, говорят, что вегетарианец какой-то дал ему траву волшебную, и что траву ту он разводит у

себя на пасеке, да народ ее не видит, потому что она показывается, будто, только тому, кто знает к ней приговор. Подступали к нему наши люди всячески, чтобы разведать про все доподлинно, да Онуфрий человек несловоохотливый, много разговаривать не любит, и когда кто заведет речь про ту траву, он, бывало, улыбнется только да скажет: "Не одна у меня трава, а целых четыре"... У Онуфрия есть уже праправнуки, и столько поколение его уже размножилось, что когда собирается у него родня, то одних сыновей да невесток, да внуков с женами столько всегда насходится, что соседи бегут смотреть, как на диво. И все уже зажиточные первостатейные хозяева и хозяйюшки, а детвора их сейчас видно, что хорошего роду: ребята все красивые, да здоровые, да степенные - залюбуешься! Нечего говорить: хоть Онуфрий и большой богач, а народ его любит. Он человек прямой, добросердечный, готов всегда и совет хороший подать, и помочь в нужде бедняку. Даже паны с жидами и те

обращаются за советом к старому Онуфрию, когда случится беда какая, и слово его много у них значит. Два года он уже вдовствует, но все еще, сказывают, плачет по своей старухе, особенно в храме Божьем, когда на панихиде дьячки запоют: "Вечная память". А прожил он с покойницею ровнехонько шестьдесят лет, и во весь век свой не слышали они друг от друга сердитого или грубого слова, точно у них в двухтелах одна душа была. Словом сказать: они жили так тихо да примерно, что дай, Господи, всякому христианину такое супружество и такое Божие благословение. Не знаю, господа читатели, как вы решите насчет травы: дело она или не дело, - а я опишу вам все, что знаю, и как сам Онуфрий объяснял это внуку Николаю, сыну племянника своего, парню очень смышленому. Никола уж дошел о во Львове в гимназии до шестого класса, но по смерти отца бросил ученье, вернулся домой и взялся за хозяйство. Ему столько натолковали и про котел, и про травы, что его взяло любопытство -

разузнать про все это от самого старика. Раз, по окончании службы Божией в церкви, проводил Никола деда домой, остался у него закусить, как говорится, чем Бог послал, и вот какой тут вышел у них разговор. Николай. Дедушка, давно уж я собирался попросить у тебя совета, что мне делать: оканчивать ли учење во Львове или оставаться на отцовском хозяйстве? Онуфрий. И то хорошо, и это не дурно, а лучше всего то, к чему есть охота. Николай. Правду сказать, у меня больше охоты к землепашеству, да было бы к чему и руки приложить, ежели бы я знал то, что ты знаешь. Про тебя ведь, дедушка, много народ толкует, сказывают, что ты или, может, еще твой покойный родитель, нашли будто котел с золотыми. А другие толкуют еще про какую-то траву, что ты разводишь ее на пасеке и что от нее у тебя такая удача в хозяйстве, - даже будто от нее такое здоровье у тебя на старости лет Онуфрий. Про котел, сынок, я не буду говорить, потому что сам ничего не знаю, а насчет травы прямо тебе скажу,

что их у меня целых четыре, и ко всякой особый приговор есть. Так уж и быть, коли твердо решил остаться дома и взяться за земледелие, дам я тебе эти травы, но обещаю тебе, что ты посеешь их и будешь растить, как я тебе скажу. Николай. Ах, дедушка, милый! Смею ли я тебя не послушать! Онуфрий. Ну ладно. Тогда перво-наперво должен я тебе сказать, что главная трава, через которую я получил и долгий век, и всякое добро, и честь у людей, называется молитва. Слушай же, Никола! У отца моего было отличное хозяйство, и когда он почувствовал кончину, то позвал меня к себе и сказал: "Онуфрий, пришла пора мне успокоиться, и ты примешь все, что нажил я трудом своим. Но есть у меня великое сокровище, и хочу я передать его тебе сам, из рук в руки. Храни его и смотри, чтобы оно не вышло из твоего дома. Если бы огонь - Боже упаси! охватил весь двор твой, - выноси прежде всего это сокровище, чтоб оно не погибло. Пусть все сгорит в огне, но ежели оно

сохранится у тебя и будет близко твоему сердцу, ты вновь добьешься всякого добра, и никакой враг не будет тебе страшен". Сказав эти слова, покойник протянул руку под подушку, достал вот эту самую книжку и подал мне. Я припал к руке его, облил ее слезами, - праведная то была рука: она меня вырастила, вывела в люди, она меня на всякое доброе дело наставляла! - и говорю ему: "Батюшка! слово твое свято, и книгу эту я сохраню, как святыню. Хотя бы мне все потерять пришлось, книгу эту я передам детям своим на смертном одре!" Это Псалтырь! Прежде, видишь, считалось за великую честь, когда кто знал Псалтырь, а нынче вы уже смеетесь над псалтырниками... Беда!.. Ну, стало быть, я тебе сказал, что первая трава - это молитва, а теперь прибавлю: и Слово Божие. Я никогда не забывал молитвы, никогда не пропускал церковной службы, ни разу не оскоромился в посту; я любил Матерь нашу Святую Церковь, я почитал священство - отцов наших духовных, что

за весь мир христианский приносят жертву бескровную и просвещают нас светом веры и науки. И скажу тебе: сам дивился, как мне все удавалось, все шло в руку, как я всегда был здоров и весел. Встану ранехонько, умоюсь, запру избу на засов, чтобы кто-нибудь не пришел да не помешал мне, и становлюсь себе на молитву: она для меня не бремя, не тягость - я молюсь сладко... Да и что может быть слаще, как вознестись душой к Богу вместе со светлыми ангелами, что Ему постоянно служат? Молюсь, а на сердце у меня такая радость, такое счастье, что и сказать я не в силах. Истинное слово: мне трудно оторваться от молитвы. А люди считают молитву за какую-то обузу, за какое-то наказание! Как же они несчастливы оттого, что не знают, что для человека слаще всего на свете! Когда я молюсь Отцу Небесному, я не думаю: какая от этого выйдет польза. Отец Небесный сотворил меня не ради суетных, пустых вещей, что в этом мире. Я покоряюсь Его мудрости и смиренно

принимаю из рук Его все, что Он дает мне. Я молюсь всею душой, и тут уж - хоть пропадай все нажитое добро мое, я, кажется, не смогу оторваться от молитвы. Да и что такое в самом деле добро наше: хозяйство, богатство наше? Прах и тлен - ничего более! Но ты должен знать, что богомольному, благочестивому человеку Бог во всем помогает, и все, хотя бы даже какое-нибудь несчастье, обращает ему в пользу и на благо. Помолясь, я без опаски хожу весь день и не боюсь ничего. В душе моей такая отрада, такое веселье, что и сказать невозможно, а веселье души - это здоровье и долгий век. Печаль не имеет доступа в сердце мое, потому что, какое зло может меня постигнуть под кровом Отца Небесного, на Которого я от юности приучен крепко надеяться? А ну-ка, Никола, помнишь ты псалом девяностый? Николай. Слабо... Нас в школе этому не учили. Онуфрий. То-то же и есть, что плохи эти школы ваши! Пошло все навыворот! На русской земле - да по-русски не учат. Но нет, сжалится Господь

когда-нибудь над нашим православным народом, будут учить его мудрости не взятым напрокат чужим словом, а своим родимым русским, и тогда свет учения разольется в нашем народе!.. О чем я рассказывал?.. А, вспомнил: я имел обычай каждый вечер читать этот самый девяностый псалом, и с этими словами обходил весь двор свой. Люди не раз, увидав меня этак ходящего, всяко про меня думали, и потом рассказывали обо мне разные небылицы. Я же не каким-нибудь волшебством, а этим самым Словом Божиим ограждал имение мое, труды рук моих. Вот ты скоро начнешь хозяйствовать. Советую тебе, делай так, как я делал всякий вечер, прежде чем отойти на покой: помолившись дома вместе с домочадцами пред святыми иконами, выйди во двор и обойди все хозяйство, а обходя, повторяй всем сердцем эти слова: Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. Речет Господеви: заступник мой еси, и прибежище мое. Бог мой, и

уповаю на него. Это вот что означает: кто на милость да на помощь Божию крепко надеется, тот будет жить как бы под кровом Самого Отца Небесного. Как хозяйское дитя не боится ничего в доме своем родимом и живет себе беззаботно, так и всякий человек может с упованием, доверчиво и смело обратиться к Господу Богу. Слушай дальше: Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Как ловец подстерегает рыб или птицу, так и люди на людей закидывают сети, чтобы друг друга уловить или делом каким, или словом. Ты вот, сынок, бывал во Львове, видел там суды и земские собрания, слышал не раз речи судебных защитников - адвокатов, и знаешь, как они из белого дня делают непроглядную ночь, а из ночи - день; как часто правду они превращают в неправду, потому что таково уж ремесло их. Но ежели ты будешь жить по Божьи, - не будет у тебя ни с кем никаких судов, и не уловят тебя в сеть, ничего не поделают против тебя словесами мятежными, иначе сказать - злым умыслом, сговором, ведь

частенько бывает, что люди сговорятся против кого-нибудь, впутают его в какое-нибудь "дело", поставят ложных свидетелей и погубят. А ты, ежели и попадешь невинно в какое-нибудь "дело", под суд, Господь так устроит, что выйдешь из него оправданный и с честью. Но будем читать дальше: Плещма своима осенит тя, и под крыле его надеешися. Эти слова означают: плечами Своими Он закроет тебя и под крыльями Его ты будешь спокоен, недоступен никакой беде! Оружием обыдет тя истина его. Неубоишися от страха ноцнаго, от стрелы летящая во дни, от вещи во тьме преходящий, от сряща и беса полуденного. Истина Его, правда Его, воздающая каждому по делам его, будет для тебя оружием и защитой: ты не будешь бояться ни страшилищ ночных, ни стрел, летающих и губящих днем, ни беды, таящейся и подстерегающей в темноте, ни злых приключений и опасностей, какие случаются среди бела дня. Ежели будешь жить, как Бог велит, ежели будешь стоять

того, чтобы истина и правда Его были твоим оружием и защитой, - не будешь знать никакой опасности, не будешь бояться ни людских напастей, ни чар, ни волхвований, ни самого дьявола. Падет от страны твоя тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приблизится. Ежели даже случится тебе быть на войне, в сражении: пусть падет подле тебя тысяча человек с одной стороны и десять тысяч с другой, - ты будешь цел и невредим, пуля не коснется тебя, волос с головы твоей не упадет. Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Ты уцелеешь, будешь жив и своими глазами увидишь, какое воздаяние получают грешники: пьяницы, ленивцы, распутные, что с женами честно не живут, что детям своим подают дурной, нехристианский пример. Много видел я грешников, но все они както исчезли - и следа от них не осталось. А шумели они, шибко шумели, - жили так, как будто нет ни Бога, ни Страшного суда, ни другой вечной жизни на том свете! Ты, чай, сам слыхал, какие

богатейшие строения когда-то были на Степановом выселке? Там в конюшнях стояло по десятку коней, таких, что теперь подобных нигде и не увидишь, да по двенадцати волов, а что было коров, что другого скота, - не перечесть! Там сидели четыре хозяина, Степанчуки, все четверо такие богачи, что поискать. А нынче там пашня, и на месте, где стояли те дома, конюшни, сараи - соха работает! Все погибло, исчезло, - то от огня, то от лихих людей, то от болезней, и нынче из всего рода Степанчуков остались только двое, - и в мой тоже двор заходят за милостыней: Никита убогий да Влас косой. Вот что значит воздаяние грешников узриши. За всякий грех последует и наказание, раньше или позже, если не на этом свете, то непременно по смерти, в другом мире, хотя часто приходит оно и здесь еще, в этой жизни. Читаем дальше: Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему. Яко

ангелом Своим заповесть о тебе сохранить ты во всех путях твоих. На руках возьмут ты, да не когда преткнеша о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Слышишь, Николай: будешь надеяться на Бога и соблюдать закон Его святой, - никакое зло не постигнет тебя; ты будешь здоров, потому что болезни наши, хоть не все, но большею частью, происходят от неумеренности, от обжорства, от распутства, от греха. Если будешь уповать на Бога, то выйдешь невредим из опаснейших приключений. Не раз мне и самому доводилось бывать в таких делах, что подлинно только милость Божия да святой ангел-хранитель спасали меня от смерти и великого несчастья, - точно так, как в псалме сказано, что Господь велит ангелам Своим хранить тебя на всех путях твоих, и они возьмут тебя на руки, чтобы ты не преткнулся о камень ногою. Один из таких случаев я расскажу тебе. Давно это было, когда на Воле помер священник, оставив вдову с малыми детками.

Покойный батюшка наш, отец Андрей Левицкий - упокой, Господи, душу его со святыми! - заведовал тем приходом. Тот год, в самую Пасху, чего исстари никто у нас не припомнит, поднялась вдруг ужасная метель, да с такою стужею, что страшно было со двора выйти. Отслужив службу, отец Андрей зовет меня: "А мне, ведь, - говорит, - надо ехать на Волю. Горе да и только: кобылица моя жеребая, дорогу замело, - того гляди не доеду". Не успел досказать, как я уж смекнул, в чем дело, да и говорю: "Сейчас, батюшка, я своих лошадок пойду запрягу". Ему, покойному отцу Андрею, да и никому из духовных отцов я никогда не отказывал ни в какой услуге: так мне завещал мой родитель, а он принял это от деда моего. Побежал я, запряг своих сивков, сели мы вдвоем с батюшкой в сани и поехали. Чуть выехали на задворки - беда, света преставленья! В глаза бьет снег с крупой, сугробы намело, как горы. "Как бы нам не сбиться с дороги, - рассказывает батюшка, не подождать ли уж рассвета!" "Нет, -

говорю, - дайте выехать в поле, там легче будет". Выехали в поле, насилу тащимся шагом по сугробам, - темень, метель! Смотрим во все глаза - хвоста лошадиного не видать! Начинаем мерзнуть. "Никак, - говорю, - батюшка, мы с дороги сбились да плуаем, где ж тут Воля, коли тут крест какой-то, а там креста нету?!" Слез батюшка с саней, ощупал - крест стоит! "Верно, - говорит. - сбились с дороги и где мы - неизвестно". Занесло нас совсем, лошадки мокрые, как из воды вытащены, только сосульки у них на гривах побрякивают, - ни вперед нам ни назад! Тут батюшка и говорит: "Вернемся домой!" "Куда ж, - отвечаю, - теперь домой, коли и след наш уже замело? "Ну так поезжай, - говорит, - куда хочешь, только на месте не стой, потому что этак и мы замерзнем, и лошади". Ударил я по лошадям, - снова поехали. Еду, еду, еду, - ничего ровнехонько перед собой не вижу, чувствую только, что еду. Вдруг будто сила какая схватила меня за руки: "Останови лошадей!" "Тпр-у-у!" -

подобрал я вожжи: лошади стали. "Что ты стал, Онуфрий? - спрашивает батюшка. - Поезжай, не стой: шибко мороз пробирает". У меня тоже руки окоченели и веки на глазах смерзлись, а отчего-то я все-таки остановился. "Ну, - говорит отец Андрей, - коли уж остановился, так слезай, посмотри, нет ли какого следа, не заметишь ли чего-нибудь". Так я и сделал, но только ступнул - да и рухнул куда-то. Кричу: "Спасите!" Ухватился руками за какой-то куст и повис на уступе глубокого оврага, над самую пропасть: слышу, как плещут подо мною волны и шумят, сталкиваясь, льдины. Батюшка соскочил с саней, схватил меня за руки да с великим трудом втащил обратно на верх уступа. К этому времени немножко уж рассвело, - осмотрели мы место, да так руками и всплеснули: один только еще шаг - и смерть бы неминуемая и нам самим, и лошадям! Пали мы оба на колени, помолились и поблагодарили Господа Бога, что чудом таким спас Он обоих нас от гибели. Тут мы опознали место и

повернули на Волю. Дорогой я и спрашиваю:

- Батюшка! Что это такое было, что мне будто кто-то крикнул: "стой", будто схватил кто за руки?

- А ты и не знаешь? - говорит - Это ангел-хранитель. - А чей, - говорю, - ваш или мой?

- Вот это неведомо: мой ли, твой или, может, твоего или моего младенца невинного. Мы ведь с тобой грешные люди. После этого, Никола, я хорошо понял слова псалма: Яко ангелом своим заповесть о тебе, сохранить тя во всех путех твоих... Ну, как там далее сказано? Яко на мя упова, и избавлю и: покрью и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его: с ним семь в скорби, изму его и прославлю его. В нужде, в беде, в горе Бог будет с тобой, и легче тебе будет, и не впадешь в отчаяние. Бог выведет тебя из всякой опасности да еще и прославит тебя. Расскажу тебе то, что сам испытал. Вот как было дело. У нас на посадке, при самом въезде, в том месте, где каменный

дом рыжего еврея Хаскеля, стоял еще старый деревянный, и жил в нем очень юркий жидок Мендель, бросавшийся на всякие предприятия. Наши посадские повадились ходить к нему на выпивку, на медок; бывал и я, хоть и не часто, за компанию с приятелями. Жидок продавал и билеты лотереи от начальства. Вот однажды выпили мы с приятелем по стаканчику меду, и взяла меня охота попытать счастья. Вынул я деньги да и говорю Менделю: подай билеты! Полез он в ящик, вынул три номера, записал их, - я взял расписку, завернул ее в бумажку и сунул в карман. В ближайшую субботу случился во Львове розыгрыш, и мои номера выиграла. А был у нас на посаде пьяница горький - Бартушкевичем звали, - отавной полицейский чиновник, за пьянство изгнанный со службы, шатавшийся по жидовским домам, подбивавший посадских заводить тяжбы, да строчивший им прошения. На ту пору, как привезли номера из Львова, он как раз был у Менделя. Еврей взял свою книжку с

номерами, стал отмечать в ней выигрыши; Бартушкевич тоже наклонился над столом и смотрел в книжку - не выиграл ли кто из посадских, рассчитывая на выпивку от счастливецца. И вдруг Бартушкевич как крикнет не своим голосом: Тройной выигрыш! все три номера выиграли!" Жид аж побледнел и весь затрясся.

- И славный выигрыш - 400 червонцев, - продолжает Бартушевич. Жид схватил его за плечо: молчи! Тот не понимает:

- А кто выиграл, знаешь, Мендель? Онуфрий Грушкевич! Я знаю, я был тогда, как он ставил. Первая ставка была ДЕРЕБЕЦКОГО, вторая МИКИТОВИЧА, - по полтиннику ставили... А потом пришел Онуфрий, и поставил целый рубль. Не так ли?

- Так, - говорит еврей, - но молчи, не болтай!..

- Зачем молчать? Я сейчас пойду скажу ему: он человек хороший, не пожалеет за такое известие десяти рублей, а может и больше даст, и пропьем...

- А я, - рассказывает жид, - дам сто, надо только иметь ум... Видишь, тут никого нет...

- Ну, так что ж?

- А вот что... Кроме нас двоих, никто ведь не знает, что выиграл Грушкевич и что у него расписка.

- Ну..

- Ну.. Так не велика хитрость расписку у него из кармана вынуть, а на ее место положить другую.

- Ну нет, велика! - отвечает Бартушкевич: Онуфрий ведь никогда больше одного стакана на пьет.

- Можно поднести медку покрепче, позабористее, понимаешь?

- А! - говорит Бартушкевич, - понимаю! Этакое, значит, меду крепкого, с белым порошком?

- Хоть бы и так! - рассказывает жид

- А полиция, судебный следователь, а доктор, следствие, комиссия, вскрытие...

- Ай-вай! - крикнул жид. - Ты так говоришь, будто ты никогда не бывал полицейским чиновником и не умеешь

обделывать такие дела! Ведь ты знаешь, что доктора скажут, ежели с ними сначала хорошенько побеседовать... Скажут: "Удар, помер скоропостижно". Судья наш Подгурский тоже не станет мешать, когда получит, что будет следовать на его часть, и все будет ладно.

- Н-да, пожалуй... Ну, Мендель, так и быть, пусть будет по-твоему!.. А мне сколько?

- Сто рублей.

- Мало.

- Ну, так сколько же?

- Сто червонцев. Жид хотел возражать, но одумался, они ударили по рукам и тут же выпили по стакану медку за мою погибель. А я и думать забыл про лотерею. Только накануне того дня, снится мне широкая и глубокая яма; хочу через нее перескочить, прыгаю и на другой стороне падаю на крест, а крест тот перепачкан в грязи. Тут я проснулся, ощупываю кругом себя: слава Тебе, Господи, - я на своей постели, это только сон. Не успел я одеться и Богу помолиться,

приходит Мендель.

- Пан Грушкевич, я к вам с большой просьбой. Есть хорошенькое дельце ай-вай, какое хорошенькое! Дешево продается дом: нужно внести задаток, а денег-то у меня как раз и нет. Деньги все по людям на процентах. Прошу Вас, ссудите 200 рублей под расписку, - отличный процент дам. Деньги у меня лежали без дела, - отчего, думаю, не дать? Пусть берет жид! Полез я в сундук, вытащил мешок серебряных денег, отсчитал ровно 200 рублей, завязал в тряпичку и положил на стол.

- Ну, дай же вам Бог здоровья, - говорит Мендель, что выручили в нужде. Пойдемте теперь ко мне, я напишу вам расписку

- Пиши здесь, я сам пошлю купить гербовую марку, отвечаю.

- Как же стану я здесь писать! А где же будут наши магарычи?

- Коли за этим дело стало, так и у меня найдутся

- Нет, таких, как у меня, не найдется!

Я ведь знаю, вы любите при случае полакомиться стаканчиком старого янтарного медку, того, что у меня покупают только для больших господ.

- Куда, - говорю, - в такую рань меды распивать!?

- Отчего же? У меня есть рыбка вкусная, знаете, понашему, по-еврейски, приготовленная. Под такую рыбку медок со вкусом пьется, хоть бы и до свету Признаться, соблазнил меня жид, слюнки потекли у меня на еврейскую рыбку; беру тряпицу с деньгами в руки, - идем! У Менделя мы застали Бартушкевича, бывшего уже крепко навеселе. Когда мы вошли, он приподнялся с места, качнулся как бы для поклона, мотнул головой, погладил ус, опрокинул в себя остаток водки из стоявшего перед ним шкалика, сплюнул и опять сел. Мендель стер пыль с лавки и попросил меня садиться, подошел к Бартушкевичу, посмотрел на него как-то особенно, в упор, и положил перед ним приготовленную заранее марку из шкафчика.

- Двести рублей на год по шести процентов? спрашивает Бартушкевич. Я кивнул. Бартушкевич, старый приказный, мигом состряпал расписку, еврей подписал. - А свидетели? - спрашиваю. В эту самую минуту в шинок вошли двое мещан и подписались за свидетелей. Получив от Менделя по стакану водки, мещане пошли дальше, куда им нужно было. Меж тем стол накрыли, поставили блюдо рыбы с разными душистыми приправами и с перцем, положили витой еврейский калач. Стали мы с Бартушкевичем уплетать рыбу за обе щеки и когда все начисто съели, явился Мендель с янтарным медком. Первый стакан он поставил передо мной, второй перед Бартушкевичем и третий себе. - Ну, дай же нам. Боже, здоровья! Взял я стакан, хочу поднести к губам и вижу: мед подернулся какою-то беловатою пленкой. Я сдул ее, откусал немного и только хотел глотнуть порядком, вдруг на дворе как поднимется шум, крик, вопль! Мы разом вскочили на ноги, бросили стаканы и побежали на

улицу. Оказалось, поймали вора: мужичонка какой-то стащил у еврея мешок с телеги и бросился бежать по улице. Евреи его догнали, схватили, - бьют, таскают за волосы, топчут ногами; мужик ревет благим матом... Сбежался целый кагал евреев со всего посада, всякий кричит: "А бей! А бей!" - и колотит несчастного чем попало. Меж тем жидок, Менделев сын, смекнул, что в шинке никого нет, что никто его не увидит, - хватить из одного стакана, хватить из другого, - глотнул медку порядочно. Тут вдруг ему бросилось в глаза, что из одного стакана, из моего, хвачено слишком много, заметно будет. Что делать? Недолго думая берет жидок да и переменяет стаканы: мой ставит перед Бартушкевичевым местом, а его перед моим. Когда перепалка кончилась, и вора полицейские стащили в участок, входим мы обратно в шинок, садимся на прежние места: вижу я, что из стакана порядочно отпито, но не обращаю на это внимания, - продолжаем пить и осушаем стаканы до дна. Мендель налил

было мне еще стакан, но у меня тогда было правило: никак больше одного стакана не пить. Беру расписку, прячу в карман и хочу уходить... Вдруг вижу: у Бартушкевича губы совсем посинели, глаза выкатились... Он с трудом приподнялся с места, зашатался на ногах, как пьяный, и со всего размаху грохнулся наземь. - Пьян? Нет, не пьян! - Пьян! - говорит Мендель. Смотрю я на еврея: побледнел, как полотно и трясется весь, как в лихорадке. Вот те на! Гляжу: жидок тоже бегаёт по избе, скорчившись в три погибели и ухватившись за живот обеими руками: "Ай-вай, вай!" Чувствую сам: не хорошо мне, что-то тошнит... Мед, должно быть, какой-нибудь такой скверный... Я к печи, вытащил горшок с теплой водой, стал пить ее насильно и выпил с полчетверти... Вернул я жиду весь его мед и всю рыбу, и тем спасся. Смотрю: жидок лежит уж на полу, а Мендель наклонился к нему и спрашивает по-своему, по-еврейски: не пил ли он меда? Жидок кивнул головой, что пил. Стали лить ему в

рот теплую воду, да он уж стиснул зубы и выпучил помертвелые глаза. Бартушкевич бьется в предсмертных корчах, но собрал последние силы и говорит: "Грушкевич, ты выиграл все три номера; жид хотел тебя отравить, а отравил меня... Мендель меня отравил, Мендель!... Он хотел вынуть у тебя из кармана твою лотерейную расписку.. Стаканы переменяли... Ох, ох!" - И захрипел предсмертным стоном. В шинке ни живой души чужих не было, одни только еврейки выли, растирая и обливая водой своего Хаима. Но Хаиму все это было уже не нужно: лишь по временам он еще подергивал то одной ногой, то другой, и изо рта у него сочилась пена с кровью. Бартушкевич был немного сильнее и промучился дольше; наконец, и он заревел в последний раз, как дикий зверь, и затих. Смотрю я на все эти чудеса и знаю уже, что такое и отчего случилось, но не знаю, как мне быть и что делать, - стою, пью теплую воду, чувствую, что гибель пронеслась уже над моею головой, и повторяю себе в душе:

Падут во мрежу свою грешницы: един есмь аз, донедуже преиду. Ах, какая истина, какая святая правда в этих словах сто сорокового псалма. Впадут грешники в сеть, ими самими расставленную, я один останусь! Попал Мендель в сеть свою: лишился единственного сына, кормильца и опоры в старости; погиб Бартушкевич, злоумысливший вместе с ним на жизнь мою. Пораздумав обо всем этом, беру шапку и хочу уходить, но не тут-то было! Корчмарь Мендель, видя, что на полу уже два трупа, а я жив и здоров, обо всем знаю и с лотерейной распиской в кармане собираюсь уходить, спохватился, стремглав бросается на улицу; запирает свое заведение на замок и поднимает ужаснейшую тревогу. На крик сбежались евреи, галдят, шумят, потом все разом устремляются в избу, чтобы убить меня, как будто я виновник смерти двух человек. Изорвали на мне всю одежду, избили меня, исцарапали, изувечили, точно Аманову куклу в жидовский свой праздник Пурим, наконец, вытащили на улицу и связали по

рукам веревками. Что дальше они со мной делали - не знаю: очнулся уже в арестантской, на соломе, без одежды, без шапки, без кошелька, а там было у меня немало наличных денег; еврейская расписка на 200 рублей и лотерейная расписка на выигрыш в 400 червонцев. Открыл глаза, смотрю на себя и дивлюсь: что такое со мной случилось? Хочу встать - не могу, ноги изранены, на спине вздулся желвак в добрую тыкву, волосы на голове повырваны, под глазами кровоподтеки... Тут вспомнились мне Бартушкевич, Мендель и его Хаим, пришел тоже на ум и сон мой: яма глубокая и широкая, - гибель неминуемая была передо мной; я перескочил через яму, Господь спас меня; но упал я на крест, испачканный грязью, - понес муку от еврейских рук... Боже, Боже!.. Сижусь на соломе в арестантской и ничего не могу выговорить, кроме: "Господи, помилуй!" Сто раз повторил я слова эти, и все никакие другие нейдут на уста. И думаю я себе: вот мне не раз приходило в голову, зачем это на

полунощнице или на часах положено читать "Господи, помилуй" сорок раз? Теперь я знаю, что сорок раз - не слишком много: сидя в арестантской, во весьто день я больше четырехсот раз проговорил эти слова - и не было слишком много! Эти сорок "Господи, помилуй" положено читать, я уверен, за таких несчастливцев, как я тогда был, - попавших в тяжкую беду и невинно претерпевающих муки... Так вот я, милый ты мой человек, и в арестантской! В голове шумит, точно в мельнице о десяти поставах; всякая косточка, всякая жилочка во мне болит и ноет, язык во рту засох от лихорадки, а может - и от отравы: попало немного. Вдобавок, тоска и беспокойство: что жена подумает, когда узнает обо всем об этом, да не так, как было на деле, а как жида переиначили? Что народ про меня теперь говорит, да не по нашему только посаду, а и по всем селам в околотке? А тут ни души - с кем бы словом каким перекинуться; раз только во весь день пришел полицейский - узнать жив ли я, и,

увидев, что жив, в сердцах хлопнул дверью, запер замок и ушел прочь. Уже к вечеру слышу шаги это были мои ночные караульщики. Уселась у самой двери и завели такой разговор:

- Вишь, вот, богач! Душу черту на лакомство бережет! А все-таки попался, как лиса в капкан!

- А что доктора-то сказывали, что потрошили покойников?

- Да то и сказывали, что мышьяком отравлены!

- Ишь ты, две души загубил сразу! Экая совесть-то каторжная!

- Говорят, завтра приказано заковать его в кандалы, а в понедельник поведут во Львов вешать.

- Мало было ему своего добра - на еврейское еще позарился! Слушаю я все это, слушаю, а сам молчу, не шевелюсь. Вдруг кто-то из них меня окликает:

- Богач, а богач! Ты слышишь? Я молчу, не откликаюсь, они еще немного поболтали да и уснули. Мне не до сна. Избитый весь, двое суток ничего не

евший, я все думаю, да передумываю, что со мною будет, все лишь свое "Господи, помилуй" твержу, горячо да сердечно. И на сердце у меня как-то не тяжело, какой-то невидимый утешитель шепчет мне: "Не бойся ничего, перенесешь ты напасть эту: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши". Вдруг слышу, кто-то тихонько меня окликнул: "Онуфрий! "Я немного приподнялся, подполз на четвереньках поближе к окошку и узнал по голосу дьячка нашего - Адриана.

- Это ты, Адрианушка?

- Я

- Не знаем мы, не ведаем, - говорит Адрианушка, - что тут с тобой делается, что такое случилось, да как. Жиды такую брехню распустили, что послушать их, - волосы дыбом становятся! Меня прислал батюшка: мы с Ваней приставили лесенку, да по ней я и взобрался, чтобы подать тебе покушать. Вот тебе туг пирожок, булочка сдобная, цыпленочек жареный. Принял я все, что он мне подал, но говорю: "Воды,

воды!" Он спустился по лесенке, скорехонько вернулся и проталкивает мне сквозь решетку кувшинчик с водой. Ах, милый внучек, что это за вода была! Покушал я вволю, немного покрепче стал и рассказал Адриану сейчас же все, как было дело-то. Побежал Адрианушка, но через час - опять у моего окошка.

- Приказал, - говорит, - батюшка, чтобы ты был покоен: выйдешь ты из этого несчастья благополучно.

- Я не беспокоюсь, - говорю, - и не боюсь: совесть моя чиста. Бог выведет меня из этой беды. Я знаю, жида сговорились с начальством и хотят уморить меня голодом, чтобы правда не вышла наружу, на свет Божий. Ступай с Богом, да скажи жене, чтобы не убивалась. Старайтесь только как можно доставлять пищу. Что бы мне тут ни подавали, я в рот ничего не возьму: жида ведь, я знаю, постараются попотчевать меня тем белым порошком и здесь, в тюрьме. В ту ночь я уж немного уснул. На следующий день входят доктор, за ним полицейский

чиновник и солдат с кандалами.

- Ну, как поживаете, пан Грушкевич? - спрашивает доктор...

- Плохо поживаю: избили меня, а теперь вот голодом морят.

- Немножко попоститься не мешает тем более что вы - настоящий православный русский, к постам привычны, - сказал доктор с усмешкой.

- Ну-ка, Тимофей, надень-ка ты ему рукавички да носочки, - говорит чиновник солдату, и начинают заковывать меня в кандалы, да такие тяжелые, ужас!

- Ну, вот вы и в рукавичках, как настоящий барин, - подтрунивает чиновник. Потом подмигнул доктору и спрашивает: - А как вы полагаете, сколько он может выдержать? Доктор ощупал меня, ударил рукой по плечу со всего маху и говорит:

- За пятьдесят я ручаюсь, а спустя неделю можно повторить... Через неделю еще пятьдесят...

- Ну, нет, - говорит чиновник, - он не будет так глуп, сознается сразу Зачем ему

получать еще по пятидесяти палок в неделю, когда висеть все равно придется, так ли, эдак ли? Тут они поболтали еще друг с другом о чем-то по-немецки, потом доктор вышел, а чиновник подошел ко мне и говорит:

- Дашь тысячу рублей, - все окончится благополучно. Мне - сто, для докторов - триста, а остальные - судье и еще кое-кому. Потом стал мне длинно-предлинно толковать, что наехала следственная комиссия, что трупы вскрывали, что в шинке нас было только трое: Мендель, Бартушкевич и я; что Мендель наверное не хотел отравить своего сына, Бартушкевич себя... "Стало быть никто другой не мог этого сделать, кроме тебя, а за это - виселица". Мы, дескать, все это иначе бы оборудовали: вину взвалили бы на Бартушкевича, благо ему теперь уж все равно. На те слова я сказал ему: "Нет, панок, мучайте меня, пытайте или вешайте, - не то что тысячи рублей, полушки единой я вам не дам. Есть знающий мою правоту, и Он избавит

меня от этого позора!" Заскрежетал зубами, как бешеная собака, хлопнул дверью и ушел прочь, прокричав на прощанье: "Палок, палок ему надо! Погоди, размякнешь ты у меня, голубчик!" Принес мне полицейский солдат ячменной каши в горшке, кусок хлеба и воды. Ни до чего я не дотронулся. Ночью опять является Адрианушка, приходит от жены и рассказывает, что был у нее жидок, Шепс кривой, подосланный Менделем. Мендель, дескать, перестал на меня сердиться и не хочет губить меня. Пусть жена даст пятьсот рублей на докторов да на полицейское начальство, - так они все это переделают по-своему; а не даст - не миновать мне виселицы. Жена, говорит Адриан, отсчитала уж пятьсот рублей, хочет нести деньги и только уведомляет меня об этом. Выслушав рассказ Адриана, я велел сказать жене, чтоб она сейчас же снесла к батюшке все деньги и все бумаги, какие у нас есть, да чтобы не смела никому давать ни одной копейки и с евреями бы ни в какие разговоры не

вступала. Адриан принес мне горячей пищи и воды, а ту арестантскую кашу я вылил в опорожненные горшки. На другой день - допрос. Спрашивают только о том, где я добыл мышьяку Я отвечаю, что мне неизвестно, где добывают мышьяк. Как только я сказал эти слова, полицейский чиновник подбежал ко мне, ударил меня по лицу кулаком со всего размаху, так что все перстни его вдавились мне в висок, свалил наземь, - а полицейские насели тут и на голову и на ноги... Отсчитали двадцать палочных ударов - таких, что я свету Божьего не взвидел, и отвели под руки в арестантскую, - сам я идти был уже не в силах. Упал я там на свою солому, облил ее слезами, - точьв-точь как в псалме говорится: слезами моими постелю мою омочу, стал на колени, поднял руки в тяжелых кандалах к небу и начал молиться... Молюсь, а слезы у меня так ручьем и текут: откуда их и набралось столько - не понимаю! Тут вспомнилось мне, как Господь Иисус Христос страдал, как святые апостолы томились в

темницах, как апостол Павел говорил о себе: трижды палицами биен бых. От этих слов мне как будто легче стало - не так стыдно и не так больно. Вдруг слышу: раз повернулся ключ в замке, другой - отворяется дверь, и входит пан полицейский секретарь.

- Спасайся, - говорит, - дай восемьсот рублей, и мы все устроим; лучше ведь отдать восемьсот рублей, чем болтаться на виселице.

- Не дам, - отвечаю, - ни полушки.

- Сами сумеем взять!

- Как угодно, а я не дам.

- А пятьдесят палок - ничего, выдержишь?

- Как Бог поможет

- И вправду твердый русак! Ну, погоди же, голубчик, будем и мы потверже с тобой разговаривать. Мороз прошел по мне от этих слов, но вера моя в Бога была сильнее страха. Боже мой. Боже! Ночью снова является Адриан и рассказывает, что жена все деньги снесла к бабушке, а бабушка, как только узнал,

что мне дали двадцать палок, сейчас же велел запрягать лошадей и поехал во Львов к самому губернатору. Я приободрился духом: я знал, что за прекраснейшая душа наш священник, как он меня любит, как ему жалко, что я здесь невинно страдаю. На следующий день приходит сам полицейский чиновник, говорит со мной, долго говорит - о виселице, о том, как во Львове поведут меня по улицам, за заставу, на тот самый холм, где убивают собак, как поставят меня на эшафот, как палач будет надевать мне петлю на шею, как я буду висеть ужасный, с высунутым багровым языком, как потом заруют меня в одной яме с собаками. А ничего де этого не было бы, когда бы у тебя была хоть капля ума и здравого рассудка, потому как ничего не стоит взвалить вину на Бартушкевича. Когда я ответил ему то же самое, что и секретарю, он ударил меня ногой, и закричал: "Под палками не то заговоришь!" Ушел. На следующий день требуют меня опять к допросу Я

перекрестился, вздохнул к Отцу Небесному и иду, - иду с твердостью, как на Голгофу. Впускают меня в канцелярию, я становлюсь там у стенки, но как-то мне вовсе уже не страшно. Очинили паны чиновники перья, закурили трубки, разложили свои бумаги и начинают снимать с меня допрос. Я не признаю себя виновным ни в чем, показываю, как было дело по правде. Вскочил тут полицейский чиновник со стула, подбежал ко мне, да снова как треснет меня по лицу со всего плеча, - я как сноп повалился на землю. В эту самую минуту вдруг отворяется дверь, и входит... окружной полицейский начальник и с ним восемь человек солдат! Заметив меня лежащего на полу, подходит ко мне и спрашивает: "Это вы - Грушкевич?" "Я, - отвечаю, вельможный пан начальник!" Тут он крикнул что-то по-немецки, обратясь к полицейскому и секретарю, вижу - у тех душа в пятки ушла. Сейчас подошли ко мне полицейские и сняли кандалы. Окружной осмотрел у меня лицо, грудь, голову, велел

даже снять сорочку; потом взял меня за руку, подвел к креслу и посадил рядом с собой. А чиновник с секретарем стоят, съезжившись, у порога, такие на вид бедные, несчастные да желтые, точно вдруг желтуха с ними приключилась. И как только сунется который сказать что-нибудь, окружной притопнет ногой, да как крикнет: "Молчать!". Тут уж окружной снял с меня допрос: как было дело, кто передо мной покупал, почём, какие номера? Потом он велел позвать Менделя, да чтобы тот принес лотерейную книжку с номерами. Оказалось все точь-в-точь, как я говорил. У еврея тоже душа в пятки ушла, хочет сказать что-то, а тут: "Молчать!" Начали снимать допрос про Менделя: Мендель слушал мои показания ни жив, ни мертв. Когда окружной кончил допрос, я рассказал еще, как с меня требовали тысячу рублей, как потом спустили на восемьсот, как Мендель посылал к жене моей Шепса и прочее, и прочее. Меня освободили, а Менделя и обоих чиновников заковали в кандалы

увезли во Львов и там отдали под уголовный суд. По выходе из тюрьмы первым делом отправился я к духовному отцу моему, покойному Андрею Левицкому, и поблагодарил его за избавление от великой беды. Не вступишь за меня покойный батюшка, да не будь прислан окружной чиновник от губернатора, кто знает - чем дело бы кончилось, и какие еще муки пришло бы мне принять! Те пятьсот рублей, что жена хотела отдать еврею, я пожертвовал на новое Евангелие и на серебряную чашу: они и до сих пор в нашей церкви. Николай. Ну а как же все это кончилось? Онуфрий. Да нашлись за меня и еще свидетели. Бартушкевич, как обыкновенно бывает у таких пропащих людей, водился с такою же, как сам женщиной, бросившей мужа. Звали ее Франциска. В тот день, когда они с Менделем порешили сжить меня со свету, дал ему Мендель пятьдесят рублей вперед, в счет, значит, моих четырехсот червонцев Бартушкевич, почувствовав в кармане столько денег, взял с собой

Франциску и пошел тягаться по шинкам до полуночи. Вернулись они, крепко выпивши, и Бартушкевич спьяну взял да и рассказал ей о своей сделке с Менделем, как получал деньги и прочее. Сапожник с женой, у которых они жили на квартире, весь разговор этот и подслушали. На другой день - по всему посаду говор: случилось то-то и то-то. Сначала не могли они взять хорошенько в толк, что и как случилось, но Мендель сказал Франциске, что беда, мол, стряслась случайно, по ошибке, однако же, чтобы она зря не болтала, те деньги, что он обещал Бартушкевичу, он выдаст ей. Франциска пуще прежнего стала пить, да раз спьяну и рассказала всю подноготную сапожнику с сапожницей. Когда Менделя отправили скованного во Львов, сапожник с женой стали громко рассказывать, что слышали, и гнать Франциску с квартиры. Дошли слухи до начальства, потребовали сапожника с женой, они подтвердили все, что рассказывали, и Франциску арестовали. Мендель сгиб в тюрьме, не

дождавшись виселицы; имущество его продали с молотка и выплатили мне все, что следовало, как по расписке, так и за выигрыш. Франциску продержали в тюрьме что-то с год, потом выпустили, а чиновник... Как-то лет пятнадцать спустя, поехал я в Большевец на ярмарку покупать волов: вижу - стоит нищий, седойпреседой, сгорбленный, нюхает табак из лубяной тавлинки. Присмотрелся к нему - полицейский чиновник, тот самый, что своими золотыми перстнями расписывал мне лицо! Заметив меня, снял он шапку, кланяется: "Благодетель, милостивец, пожертвуйте бедному, несчастному!" - Не узнал! Кажись, и мозги-то у него не совсем уж были в порядке. Я и спрашиваю:

- А как ты прозываешься?

- Подгурский, благодетель мой, Подгурский.

- Ну, ну, - говорю, - ты - Подгурский, а я Грушкевич, - и бросил ему на ладонь двугривенный.

- Грушкевич, Грушкевич... знаю, знаю!

Взглянул на меня, облобызал мою руку и побежал в кабак... Такая вышла история... Понимаешь ли теперь, что значит: Очима твоими смотриши, и воздаяние грешников узриши? Николай. Теперь понимаю. Онуфрий. А слова: С ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое? Николай. Понимаю. Онуфрий. Знаешь - какая та первая трава, которою я старался добыть себе богатство и долгий век? Николай. Молитва! Онуфрий. Верно! А вторая трава, сынок, называется премудрость. У нас в народе водится поговорка "лучше с умным потерять, чем с дураком найти". И это верно. Дай глупому человеку достаток, богатство, - дашь их на собственную его беду, на большую еще его пагубу и наказание: имение свое он расточит, наживет себе еще больше греха, больше всяких страданий, а то, случается, и душу свою погубит. То же сделает неразумный и с крепким здоровьем, этим великим даром Божиим: неумеренностью,

невоздержанностью, пьянством и всяким распутством погубит он красоту и силу тела своего, состарится и одряхлеет в цвете лет, не проживет и половины того века, что прожил бы, когда б имел ум и умел ценить и беречь дар Божий - здоровье. Послушаем, что написал про премудрость человек, более всех прославленный за свой ум - царь Соломон. В его Книге Притчей вот что сказано: Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Подлинно, нет большего счастья, как все потребное для жизни человеку знать и верно понимать, иметь ум крепкий, здоровый и, как говорится, трезвый. А для этого опять же нет большего счастья, как ежели кому Бог даст разумных родителей, которые с малых лет учат дитя познавать, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, и приохочивают его ко всему доброму и полезному. У честных и разумных родителей - хорошие и разумные дети, а у родителей безумных - таковы же и дети. Счастливы тот, кому Бог помог

научиться грамоте: читать, писать, да по-настоящему понимать все, что прочтет в книге, и кто имел хорошего учителя - не наемника, что лишь отсиживает в школе из-за денег положенные часы, а такого, что всякого ребенка, вверенного его заботам, берет на свою совесть и на свою ответственность, и учит его ревностно, всем сердцем за награду от Самого Господа в другой жизни. Таков именно был учитель в нашем посаде - покойный Леонович, и все то, что я нынче знаю, я знаю от него, он учил меня не только грамоте, но и как жить на Божьем свете. Сам Бог создал его быть учителем, наделив его светлым умом и непорочным христианским сердцем. Нет дня, чтобы я не вспомнил о нем со вздохом ко Господу, - я молюсь о душе его, да тут у многих имя его записано в синодиках... Но вернемся к Книге Притчей, к словам Соломона о премудрости: Она дороже драгоценных камней; никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем, приближающимся к ней, и

ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой богатство и слава. Из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит... Ах, какие прекрасные и глубокие слова! Именно так: из уст мудрого услышишь только правду; все, что ни скажет язык его, будет закон - наставление, как жить, а стало быть милость, благодеяние. Собирай же премудрость, разум! Старайся приобретать здоровое и верное понятие о вещах Божеских и человеческих. Купи Библию и читай ее; покупай всякие полезные книги и учись из них. Видишь, в моем шкафчике много книг: я, как только узнаю, что вышла полезная книжка, сейчас же стараюсь ее купить. И так всю жизнь. Эти книжки - моя премудрость. Я читаю их постоянно, как только случится досужая минута. Пашня моя, огород, скотина, пчелы мои доставляют пищу моему телу, а эти книжки питают мой ум и мое сердце. Как христианин, я не знаю ничего слаще слов Священного Писания; как для русского,

нет для меня ничего милее нашей грамоты, данной нам святыми Кириллом и Мефодием. Заведи себе такой же шкафчик, постарайся иметь много-много полезных русских книг; чтобы не быть невеждой и неучем, чтобы знать свой закон христианский и свое русское Отечество, чтобы тебе было ведомо: кто - враг и кто - друг. Расскажу одну историю. Должен тебе сказать, что всякий город, всякое село, даже всякая изба имеет свою историю или, проще, бывальщину. А так как я старый человек, то много уже на моих глазах совершилось разных историй, и в каждой из них содержится полезное наставление. Теперь послушай, что говорит премудрость о том, как вернее нажить богатство и честь. Во-первых, знай и помни, что несправедливое добро, не есть добро, потому что раньше или позднее оно непременно погибнет, если не в руках того, кто его несправедливо нажил, то детей его или, самое позднее, внуков. Хочешь нажить достаток, довольство, положи себе за правило, чтобы в доме твоём, под

крышею твоею, во всем дворе твоём не было ни на одну полушку несправедливого добра - чужого, добытого обманом ближнего, кривдой. "Чужое добро впрок нейдет", - говорит русская пословица. Чужое добро в доме - все равно, что горячая головешка под соломенную крышей: берегись! Во-вторых, что легко пришло, то легко и уйдет, а что добудешь в поте лица, умом да трудом своим и семьи своей, то умножится и принесет плод во сто крат. В-третьих, не забывай церковь Божию: из имени твоего каждый год приноси дар на церковь, во славу Божию. Господь Бог в этом не нуждается, потому что все богатства и вся слава наша - прах и тлен в сравнении с небесами и ангелами, которые ему служат. Но это нужно для нас самих, для обновления любви и благодарности в сердцах наших. В-четвертых, помни о бедных, об убогих, несчастных, помни о нуждах своего сельского мира, о своей великой русской родине, и, где надо, дай охотно. В-пятых, не гордись и не величайся своим

богатством. Что твое богатство против богатства других, настоящих богачей, и что богатство всего мира против одной только звезды небесной? То же самое, что одна жалкая песчинка против необъятной громады песков пустыни! Чем же тут гордиться?.. Покойный родитель твой рассказывал тебе про нашего барина? Николай. Рассказывал и про барина, и про барыню, что это были господа очень добрые. Онуфрий. Рассказывал и про барышню Анну? Николай. Про дочку их покойный батюшка рассказывал, что она была очень богомольна и добра. Онуфрий. Да, так... Хотя... про них было много толков. Но то, что я про них знаю, что я у них сам видел и слышал, того, друг, сплошь да рядом не увидишь и не услышишь, разве в книжке какой можно прочесть. Смолоду барин наш был очень горд и лют нравом, большой кусок нашего посадского озера оттягал себе под сенокос, - да не помянется ему грех на том свете! Но Бог смирил его, он опомнился и под старость сделался такой кроткий да

добрый, что равного ему в этом у нас потом никого уж и не было. Как прежде народ боялся его, точно страшилища, и ненавидел, так потом, когда сделалась с ним эта перемена, полюбил, как родного отца. А случилось это вот как. Мужики на помещика пахали, боронили, возили сено, снопы, лес, дрова, навоз. Сколько чья скотина вытянула, столько всякий и работал. Но вот однажды разослал пан по деревьям своих приказчиков за подводами возить навоз. Приехали приказчики и говорят: "Пан уезжает на теплые воды лечиться и желает, чтобы до его отъезда весь навоз был на пару. Кто поедет, - зачтется день барщины, да сверх того за всякий воз - по чарке водки". Ехать всякий был должен, потому что панский приказ - не шутка, а туг еще по чарке водки, до которой народ наш беда как охоч! Принялись мужики дружно за навоз, изо всех сил всякий работал от зари до позднего вечера. Когда покончили работу, пан сам сделал всякому верный учет, и оказалось, что иные успели оборотиться

по двенадцати раз. Хорошо, но что ж дальше? Дальше вышло совсем неладно. Пан приказал никому водки не давать, собрал мужиков в кучу и сказал им так: "Ну вот: видите, ребята? До сих пор вы возили мне лишь по четыре воза в день, и я считал это за день барщины. Вы, стало быть, меня обманывали! Ежели сегодня вы смогли вывезти по двенадцати возов, стало быть, и всегда так работать можете. Потому с сегодняшнего числа я стану считать вам рабочий день в двенадцать возов - ни меньше". Так пошло потом и при уборке хлеба. Когда, бывало, вечером начнут складывать хлеб в копны, приказчик с десятниками обходит все поле и меряет снопы бечевкой. Как только который сноп потоньше - связывай два снопа вместе! А не достало двух-трех снопов в копне до шести десятков - пошла работа задаром: день в барщину не засчитывался. Жаловаться народ не смел, - боялся, потому все терпели, - гибли, но терпели! Впрочем, сам-то пан, может, и не был такой лютый, да был у него

управитель-гадина, что подбивал его на все эти выдумки. Когда управитель ослеп да стал жить у пана на даровых хлебах, без службы, - народу полегче стало. Богаты были наши помещики, ужасно богаты, и деток им Бог посылал, но детки у них как-то все не росли. Бывало, родится ребенок дюжий, здоровый, но как только вступит в пятый годок, скоропостижно умирает, точно косой его скосит. Так умерло у них десять человек детей, и все по пятому году. Сколько покойница-барыня ни убивалась, сколько ни раздавала денег нищим, на церкви да на свои костелы, - ничего не помогало. Умер десятый ребенок, и пять лет после того детей у них уже не было. А она каждый день - на кладбище да на кладбище: плачет, убивается - до обморока. Опротивели им уже всякие имения, да и подлинно, на что ж человеку все это, когда нет у него ни одного ребенка? Но вот раз приходит к ним в усадьбу старик нищий, седой совсем, старый-престарый. Барыня вышла к нему, подала серебряную монету, да и

говорит: "Молись, дедушка, чтобы Господь нас помиловал". А дед-то ей в ответ: "Помилует вас Господь милосердный, помилует, только вы покайтесь, не обижайте народ, будьте и вы милостивы. Поезжайте-ка вы в Почаев, в Лавру, говейте там три дня, потом исповедайтесь и причаститесь; да пусть монахи отслужат обедню заказную с акафистом Богородице, а вы всю ту службу чтоб оба стояли на коленях". Барыня послушалась, подала деду еще такую же монету и сама побежала к барину, а нищий тем часом куда-то исчез. О чем там они говорили, неизвестно, но назавтра барин велел запрягать, и поехали они в Почаев. Молитвы ли чернецов, милость ли Божья, только после того году - великая радость у наших господ: послал им Бог дочку, и окрестили они ее Анной. Того дня, когда ее крестили, созвал барин своих управителей, писарей и всех присмотрщиков и сказал им: "Смотрите, чтобы во всех моих имениях нигде следа не было ни палки, ни плети. Кто из вас

посмеет ударить кого-нибудь из людей моих - лишится места! Кому сделано какое притеснение, обида, - за все наградить; у кого какая скотина, вол или лошадь испорчена или пала на барщинной работе - выдать из моих голову за голову. Посадским пастбище прирезать обратно". И растет их девочка, растет - не ребенок, а настоящий ангел: так хороша собой, что кажется, весь свет исходи, другой такой нигде не сыщешь. Подходит уж пятый год, на котором все старшие их детки померли, - господа от забот не знают покоя ни днем, ни ночью: все холят да нежат ее, да берегут, чтобы как-нибудь холодный ветерок на нее не подул, чтобы дурной глаз на нее не глянул. На пятом году везут они ее в Почаев, читают там над ней молитву и Евангелие, и что кто ни укажет - молитву ли какую читать, жертву ли куда принести, все то охотно делают. Господь их помиловал: девочке - шестой годок, а она растет себе, красуется, на радость родителям, что маков цвет, - такой красавицы, говорю тебе, ни до того, ни

после у нас не видывали. Но еще краше была ее душенька. Бывало, всякий день идет к обедне в свой костел, а по русским праздникам - в нашу церковь, стоит там по-нашему, степенно и со страхом, как сейчас вижу ее перед собой, сердечную! - и молится горячо и с умилением; а по окончании службы раздает нищим деньги и всем вдовым, больным, убогим, всем, кто не в силах сам работать и кормиться. Велит приходиться в усадьбу за мукой, за крупой, салом и всяким добром. Зато у нас на посаде все про нее, про барышню Анну, только и говорили, как про настоящего ангела-хранителя и утешителя. И выросла девица прекрасная, и со всех сторон стали наезжать к ней женихи: тот богат, этот еще богаче; один красавец, другой - еще лучше; но никто не пришелся ей по сердцу. Она все лишь читает святые книги, все только молится да творит добрые, милосердные дела. Раз приехал к ней свататься какой-то граф, а она оставила гостей, кликнула свою горничную девушку и пошла с нею на похороны

старой нищенки, которой сама сшила похоронную рубашку. Много бы слишком пришлось говорить, сынок, ежели бы все про нее рассказывать. Одно скажу: такие люди не рождаются всякий год, а разве лишь одна такая чистая, да святая придет в мир во сто лет или еще реже. В нашем посаде она всех знала от старого до самого малого, а ума была такого, что старые ученые люди ей дивились. Были тут у нас два брата, что между собою чуть ли не десять годов судились. Мирили их соседи, мирил священник, мирил благочинный, наехав смотреть церковь, - все напрасно: всякое доброе слово отскакивало от них, как горох от стены. А барышня Анна их помирила: они разделились землей полюбовно и стали жить побратски, в любви да совете. Где видал кто когда-нибудь такую барышню? Да и точно: не обыкновенная она была барышня, а прямо сказать ангел, настоящий ангел! Старые господа все ей позволяли, да и не в силах были в чем-либо ей поперечить. Только посмотрит она, бывало, ласково на

маменьку с тятенькой, - они уж и смолкают. Теперь я должен рассказать тебе про человека, который один только был до того нелюб барышне Анне, что она видеть его не могла. Это был управляющий старого пана и звали его Гусаковский. Родом он был наш же русский мужик лапотный и прозывался Гусак, но так как с малых лет отличался проворством да сметливостью, то выучился у дьячка грамоте, потом попал во Львов, поступил там в ученье к портному, получил права мастера, прозвался Гусаковским, переменял русскую веру на польскую и задумал стать паном. Когда поднялся в 1831 году польский мятеж в Варшаве, побежал и он воевать, и там сделали его каким-то начальником. А когда русские разбили польское войско, он захватил денежный полковой ящик, бежал с ним и очутился у нас. Деньги эти он где-то зарыл, игла и наперсток стали уж ему еще больше не по вкусу, он старался всячески втереться в службу к нашему барину - и таки втерся. А

был он, надо тебе сказать, очень хитрый и льстивый, говорил так гладко и сладко, что все считали его отличнейшим человеком! Поступил он писарем, потом сделался управителем, потом управляющим. Деньги, какие у него были, раздал панам да жидам под лихвенные проценты, а вдобавок так умел исправлять свою должность, что помещик, которого он обкрадывал самым бессовестным образом, считал его своим преданнейшим слугою. Подделывался он и к барышне Анне, чтобы у ней тоже быть в милости, но она всегда терпеть его не могла и не пускала к себе на глаза. Анне минуло восемнадцать лет, и была она всегда здорова и весела, точно молоденькая серночка. ... В Великую Пятницу, когда мы собирались к плащанице, стали в народе говорить, что барышня Анна разболелась. На другой день коляска за коляской скачут к нам в усадьбу доктора из Львова: пробыли у нас несколько дней, думали, гадали и разъехались, сказав, что такой болезни никто никогда не видывал. Плакал

народ на всем посаде из конца в конец, и не было человека, кто бы горячо об ней не молился даже жиды молились. А болезнь ее, точно, была особенная, невиданная. С утра говорит со всеми, ни на какую боль не жалуется, только лицом побледнела, да так стала слаба, что руки не могла поднять. А как двенадцать часов пробило, в полдень, значит, закрывает глаза и лежит, как мертвая, губами только шевелит, и все говорит, говорит, говорит! И таково чудно, милый мой, говорила, такие все слова, что я сам никогда бы не поверил, ежели бы своими ушами не услышал. Всякого наставляла, учила, и никто не мог удержаться от слез. Старые господа оба заболели: при ней находились только ее верная старшая горничная девушка да другие слуги, а народ валил к ней, будто смотреть на какое диво. Одного только Гусаковского не велела пускать к себе, и когда тот подошел раз из любопытства к двери, чтобы подслушать, что она говорит, она застонала. Когда мы спросили, что с нею, она отвечала: "Там за

дверьми - Гусаковский: скажите ему, чтобы ушел прочь. Он - душа темная и нечистая, я не могу выносить его". Мы приотворили дверь, смотрим - и вправду Гусаковский, и сказали ему, чтобы сюда больше не показывался. Он расхохотался и ушел с гневом, а мы вернулись в горницу, видим: она снова утихла, лежит, как покойница, бледная-пребледная, руки скрещены на груди, глаза закрыты. Много говорила она о Идущей жизни и о том, как следует жить на этом свете. О, кто в силах рассказать, что мы слышали! От ее слов самый закоснелый и жестокосердный грешник не мог не плакать, как дитя, один только над всем смеялся - Гусаковский. На четвертый день к вечеру больная сказала, что скоро душа ее совсем отрешится от тела, и тихо заснула. Когда проснулась, подозвала нашего батюшку и поцеловала у него руку, поцеловала потом верную свою подругу и неотступную сиделку в болезни - старшую горничную девушку Марью, велела обнять и поцеловать за нее отца и матушку, утешить их и попросить, чтоб не

плакала, но они лежали оба больные без памяти, и врачи никого к ним не допускали. Велела созвать всех дворовых людей, благодарила их за услуги, со всеми попрощалась и всякого благословила. Тут поднялся плач безмерный: все рыдали, у меня у самого слезы лились в три ручья, потому что никогда такой кончины я не видел. Когда часы показывали семь, больная глубоко вздохнула, и душа ее оставила прекрасное земное ее тело. Никогда не видел я такого прекрасного ангельского лица, никогда не замечал у покойника такой светлой и радостной улыбки, как у нашей барышни Анны, когда одели ее в бело платье, положили в гроб и всю ее усыпали цветами... И вспоминать тяжело... Но мы должны возвратиться к нашей волшебной траве к премудрости. Когда сказали нашему барину, что Анна испустила дух, он расхохотался и на весь двор запел по-петушиному: "Ку-каре-ку!" Это имело свое значение. В прежние годы, если крестьяне приходили на работу после восхода солнца, он их строго наказывал и

приказывал петь по-петушиному, и не засчитывал этот день... Со смерти дочери никто уж больше не слышал от него ни единого слова: как только с ним, бывало, заговорят, он сейчас за свое: "Кука-ре-ку!" Доктора и кровь пускали, и растирали разными мазями, и поили всякими лекарствами, - ничто не помогло! Сидит, бывало, по целым часам задумавшись, точно каменный, потом вдруг вскочит, подбежит к окну, да во весь голос: "Ку-ка-ре-ку!" Совсем с ума сошел. На похоронах Анны народу было великое множество - со всех сел, и господ наехало издалека, и все плакали, потому что все лишились в ней земного ангела. Такого ангела Бог послал грешному человеку, нашему барину, чтобы он покался в своей лютости и жадности. А барыня через три недели пошла за Анной, и обе теперь почивают в одной могилке... Барин прокукарекал у нас еще год, потом Гусаковский увез его лечиться на воды, куда-то в Неметчину, - там он и помер. Гусаковский захватил его духовную, где

была запись на церковь, что покойник обещался построить у нас, похитил его шкатулку с деньгами и стал богатым паном. Имение продали, деньги отправили какому-то свояку покойника в Польшу, а у нас стал помещиком теперешний барин. Гусаковский мог бы купить себе богатейшее село с крестьянами, да он был простого роду, а в ту пору такие имения дозволялось у нас покупать только дворянам. Потому он приобрел казенный участок в посаде и стал скупать земли у наших посадских. Помогали ему в этом один еврей и пьяница мещанин: они ходили по дворам с водкой, спаивали народ и выманивали земли. Таким порядком завел Гусаковский на казенном участке богатейшую усадьбу, постройки такие, что подобных никогда не видали во всей округе! Из посадских земель составил пашни и сенокосы и зажил настоящим помещиком, по-барски! Случилось на беду, что меж теми землями, что он выманивал у посадских, находился домик покойного учителя Леоновича, где

проживала вдова его с детьми - сиротами. Гусаковский решил во что бы то ни стало завладеть и этим домиком, а вдова и слышать не хотела о продаже: он был для нее бесценным, как память о покойном муже, который сам построил домик и развел при нем небольшой сад, своими руками сажая и прививая каждое деревце, и она не уступила бы никому ни за какие миллионы. Гусаковский подговорил своих батраков делать ей всякие пакости и притом уверил их, что им нечего бояться: я, мол, дружен с нашим судьей и всегда смогу избавить вас от наказания, коли она пожалуется. Начался вдруг настоящий разбой: в саду попереломали деревья, растащили забор. Гусаковский поил их за это водкой, а наиболее злобных награждал даже деньгами. Дошло до того, что она со слезами принуждена была отказаться и от земли, и от домика, продала их Гусаковскому, а сама с сиротами поселилась в наемной избе на краю посада. Тогда Гусаковский протянул ограду своего двора дальше, воздвиг

новые строения и еще пуще залютовал. Посмотрел бы ты какие у него были конюшни, какой дом, как в комнатах все сияло серебром и золотом... Но по порядку. Построился у нас Гусаковский, как сказано, на удивление и стал жить да поживать по-барски, широко. Ни о ком столько ни говорили, как о нем, никому столько не завидовали. Кроме большого богатства, была у него и жена-красавица, и деток трое, что твои цветики, один другого лучше; в усадьбе у них, бывало, съезд никогда не прекращался: гости, веселье, обеды, ужины, музыканты гремят, смех, говор, шум! И говорили завистливые соседи: "Враки, будто несправедное добро впрок нейдет! Смотрите на Гусаковского: каково поживает! И ничего он не боится: от пожара застраховался, от градобития застраховался, все у него верно, все безопасно!" Да... От одного только - от гнева Божия не застраховался!.. Родила ему жена четвертого ребенка, справили богатые крестины, гостей наехало в усадьбу, может, с сотню упряжек. И кто

мог бы подумать, что из малости выйдет такая беда, что в три года лишит Гусаковского всего, что он имел, и сделает его жальче нищего. Дело было так: жене его, когда она отдыхала после родов, вдруг до смерти захотелось водки. Дали одну рюмку, дали другую, - да как и не дать, когда просит чуть не со слезами? Настроение тут у всех хорошее... Так угощали ее один день, другой... На третий - снова. И - незаметно, незаметно, но не больше как в две недели так прирастала она к водке да к рому, что меньше полуштофа и не показывай. Да ежели бы еще одна пила, - но у пьяниц такой уж нрав, что им подавай непременно компанию. Составилась и компания, сначала из таких же, как сама она, - из дворян, потом из мещанок, и, наконец, из всяких, кто ни подвернется под руку. Муж отправится по хозяйству в поле или уедет куда-нибудь, а она сейчас созовет свою компанию - и пошло пьянство на весь день. Вернется он домой - жена лежит пьяная, без памяти, и в доме уже стали

недосчитываться то того, то другого. Дальше - больше: стал он прятать да запирает от нее деньги, а она потащила из дому все, что попадется: золотые и серебряные вещи и всякое иное добро стало уходить в заклад на водку Она не довольствовалась уже пьянством дома, а стала шататься по кабакам, плясала там с лакеями да с солдатами, угощала всех встречных и поперечных. А он, муж-то, каков ни был сердитый да злой человек, имел к ней такую любовь, что не в силах был поднять на нее руки иль обидеть ее каким-либо грубым словом, а только все ухаживал за ней, да берег ее всячески. Раз захотелось ей водки до смерти, а он запер все на замки да запоры, забрал ключи и уехал. Так что же она делает со злости, окаянная? Берет головешку и поджигает собственную усадьбу! До чего доводит водка! Недаром говорят, что лукавый ее выдумал! Гусаковский был в отлучке, дворовые даже видели, как она поджигала, но когда прибежали - спасенья уже не было: поднялся ветер, пожар

истребил все дотла. Усадьба была застрахована, но страховое общество говорит: твоя жена сама подожгла, ничего не дадим. Пропало дело! Осталась одна земля, деньги, какие были, ушли на новое строительство, а она по-прежнему все тащила из дому, не бросая своего нрава. Через год, едва окончили стройку, опять пожар, неведомо с чего и откуда, - и снова все сгорело. Упал духом Гусаковский, с горя принялся тоже за чарку, и стали они пить вместе. Дети все поумирали - болезнь за болезнью на них, прямо напасть какая-то... Гусаковский с женою переселились на посад и пошли туг пьянствовать без просыпу, не зная никакого другого дела. Была еще земля, евреи давали водку за землю; наконец, землю приказано было продать с молотка, а так как в то время официально продавать земли евреям было запрещено, то мы: я, твой отец и другие соседи - явились на торги, купили землю в складчину и разделили ее между собою по паям. Теперь у меня сорок десятин, у тебя пятнадцать, остальные же покупали по

две да по три десятины, кто сколько мог. А Гусаковский с женой дошли до суммы, не раз попрошайничали и у нас, и мы тоже подавали. Он умер прежде, но и она прожила без него недолго. Похоронить ее было не на что, я же сам еще и доски на гроб давал... Из этого видишь, что ум бывает разный. Бывает ум истинный, и тот говорит нам, что несправедное добро - не есть добро; а такой ум, что хорошо на обиду ближнего на плутовство да обман, - не настоящий ум, неистинный, потому что раньше или позже непременно доводит человека до беды, до гибели. А несправедно нажитое имение, такое, на котором тяготеют людские слезы, рассыпается прахом и исчезает. Достаток должен иметь чистую совесть и светлое лицо пред Богом и людьми, и вот в чем истинный ум, или премудрость: достаток наживай только праведно, а несправедного достатка не желай никогда (выделено мною Б.В.П.). Чтобы узнал, сынок, как добро наживать, я расскажу тебе нашу историю, - расскажу о том, как Бог помог

нам самим добиться достатка. Покойный дед мой был человек очень бедный: не было у него ни клочочка своей земли, не было ни огорода, ни избы, и служил он помощником дьячка. Ты сам знаешь, что нет в мире создания беднее дьячка. Та мышка, что живет в поле, в хлебном скирде или на гумне, не только кушает досыта, но из шалости часто даже портит снопы пшенички и гречи. А у той, что в церкви, нет ничего, разве упадет крошка от ковриги хлеба, принесенной богомольцем к заказной панихиде, оттого-то церковные мыши так тощи и наши дьячки так бедны, а про помощников и говорить нечего. Каковы в самом деле дьячковские доходы? Дедушка рассказывал, что терпел и бедствовал он немало, да беду свою топил не в чарке, а в молитве, в Псалтыри, да в труде. У дедушки такой уж был нрав, что часу одного он не мог пробыть без дела, - Боже упаси! Лениость дедушка считал за самый большой грех, и в старости, когда уже по милости Божьей, у него было все, чего

только душа пожелает, до последнего часа не мог быть без работы; хотя уж ослаб силами и плохо видел, да и отец мой запрещал ему утомлять себя работой, но он не мог удержаться, плакал, когда прятали от него инструменты, и трудился до самой кончины. А вот что он рассказывал про жизнь свою. Дедушке не было еще восемнадцати лет, когда из помощника, по смерти старого дьячка, стал он на клиросе настоящим дьячком. Дедушка был не из мещанского рода, а из простого крестьянского: отец его был крепостным и ходил на барщину. Когда помещик проведаль, что дедушка устроился дьячком, наехали его служители, ворвались ночью в дом, связали дедушку и, как душегубца какого, повели через все село в барскую усадьбу Пан видит, что парень красивый, статный, - велел его развязать и взял в хоромы лакеем. Тогда у крестьянина своей воли не было, чего пан хотел, то с ним и делал. Но то, что дедушке моему казалось сначала большою бедою, вышло ему на счастье. В

то время усадьба совсем заново перестраивалась, - в хоромы повсюду вставляли новые двери, окна, делали новые полы. Пан уехал куда-то далеко, и дедушка получил от него приказ присматривать за работами по дому. И вот он не только досмотрел, чтобы все было сделано как следует, но от мастеров тех и сам выучился всякой работе. Встанет, бывало, до свету и давай пилить, строгать, сверлить за столярным верстаком. Мастера видят, что у него большая способность и охота ко всякому делу, - стали ему показывать, а ему того только и нужно было: в одно лето дедушка выучился столярному, токарному и малярному мастерствам и стал работать как самый лучший, что ни есть, мастер. К осени вернулся барин, осмотрел все и говорит: "Хорошо ты у меня присматривал, все сделал чисто и прочно, проси себе за это подарок какой хочешь". А дедушка в ответ: "Никакого подарка я не желаю, позвольте мне только работать по утрам в мастерской: я буду делать все,

что потребуется вам по дому". Пан согласился и подарил ему столярный верстак со всеми инструментами. Два года этак он трудился, и мастера лучше дедушки в это время не было уже во всем округе. Веялку ли для хлеба было нужно сделать, домашнюю ли утварь какую, скрипку ли для музыканта, ведро, кадушку ли, за что он ни принимался, все выходило из его рук так прочно да чисто сделанное, что любо-дорого было смотреть. Тем временем занял Галичину нашу австрийский цесарь, крепостное помещичье право было уничтожено, и дедушке стало вольно отойти от пана. Общество наше опять приняло его к себе дьячком, потому что тот, который был после него, сильно пьянствовал и производил такой соблазн, что не было возможности держать его дольше. Сделавшись дьячком, он снял большую избу и принялся за мастерство. Самоучкой он знал еще отлично кузнечную часть, слесарную, колесничество, а потому народ обращался к нему со всех сторон за

разными поделками, и тем охотнее, что все, за что ни брался дедушка, он делал, как настоящий мастер. Когда кто, рядясь, находил, что цена слишком большая и жаловался, покойник говаривал: "Меня ты будешь клясть только раз - когда платишь, а потом уж никогда; я вот и хочу, что бы ты уж лучше поругал меня теперь, чем после за недобросовестную работу". Таким способом он в несколько лет нажил достаток и тогда познакомился с бабушкой, за которую отдавалась изба с землей, на том самом месте, где теперь моя усадьба, женился на ней и принялся за хозяйство, но все-таки продолжал заниматься мастерством и не оставлял тоже дьячества. "Мне любо петь Господеви", - говаривал дедушка, объясняя, что остается дьячком не по нужде и не из-за хлеба, а из-за любви ко Господу, которому поют и ласточка, и жаворонок, и соловей, и ангелы на небесах: "Когда я запою в церкви, мне кажется, что я пою вместе с ангелами". И до конца своей жизни, покуда в силах был

ходить в церковь, покойный дед постоянно пел и служил Господу в храме. Жизнь его была такова, что стоит в нее вникнуть. Как ходят хорошие часы, ни на одну минуту не отставая и не убегая вперед, так все правильно и мерно шло у него по хозяйству: Вот любимое его наставление детям и всей челяди: "Человек должен подражать Господу Богу. Как Господь Бог беспрестанно творит, как все дела рук его прекрасны и на пользу, как Он все измерил по часам и минутам, так и человек должен постоянно и усердно трудиться, смотреть на часы и по ним располагать свою работу". Бывало, ровно в четыре часа, как зимой, так и летом, встает он сам, а за ним - дети и челядь. Каждому назначалась с вечера работа на завтрашний день. Вставши и чисто умывшись, все молились вместе, а потом уже всякий шел к своей работе: кто в поле, кто на гумно, кто в мастерскую. Как в хозяйстве, так и по мастерству все у него было отлично устроено и сложено и все двигалось правильно, точно колесики в

часах. У него никто не смел сказать неприличного, дурного слова или поспорить с другим или оскорбить кого-нибудь. Сам он, хоть и был горячего нрава и строг, никогда не бил челяди и не наказывал, а все только учил, как лучше что сделать, и добрым словом внушал провинившемуся вперед быть исправнее. Когда кто худо что-нибудь делал или ленился, или пакостную шалость какую учинял, он призывал того к себе и с глаза на глаз его учил и наставлял, но при этом никогда не показывал ни досады, ни гнева. Оттого челядь у него была всегда усердная и прогневать его боялась пуще палки. А кто внушению не поддавался да еще и других портил, тому он сейчас расчет в руки, - и ступай себе с Богом. И не только никогда не бил никого и не наказывал, а, напротив, стоящего любил похвалить и наградить. Придет, бывало, на конюшню, увидит, что лошади исправно вычесаны, вычищены, грязь с возов смыта, сбруя как следует смазана, или в поле, - пашню хорошо вспаханную, скирд или

стожок тщательно сложенный, - сейчас зовет других и говорит: "Смотрите, как у него все исправно, как хорошо! Люблю я такую работу. Из тебя, брат, хороший выйдет человек и дельный работник, и вот за то, что ты меня порадовал, дарю тебе...", - и награждал деньгами или подарком. Оттого в работниках никогда у него недостатка не было, и нам он часто повторял: "Люди без ума не умеют обращаться с челядью. Слуга - не раб, а помощник мой и друг, такой же человек, как и я, и я должен быть ему отцом и наставником, потому что Бог вверил его моему попечению. Не ругань, не побои, не бранные и унижительные прозвища удерживают челядь в верности, но любовь, ласковое слово и награда". И это было мудрое правило. Каждый работник получал у него в назначенный час здоровую и вкусную пищу, кто служил за одежду - хорошо сшитую и прочную одежду, кто за жалованье - в условленное время добросовестный расчет. А если случалось, что кто женился или девушка шла замуж,

дед справлял сверх всего свадьбу и давал приданое. "Ты на меня, - рассказывает, бывало, столько лет уж проработал, благослови тебя Бог завести и свое хозяйство, - я помогу тебе от души". И так нас учил: "Смотрите, я из ничего, одним лишь трудом да сметливостью, добился верного куска хлеба. Отчего народ наш беден? Оттого, что у нас как стал человек земледельцем, так он уж ничего пред собой не видит, кроме своего куска земли. Уроdit земляца, - есть хлебушек, не уроdit, - бедствует, потому что в руках не имеет никакого другого способа зарабатывать пропитание. А у еврея хоть и нет земли, и однако же, у каждого - деньги! Отчего? Оттого, что всякий еврей грамотен и имеет какой-нибудь промысел. Что же мы не знаем никаких промыслов? Что же мы ждем, пока еврей привезет нам соли в деревню, когда мы сами могли бы купить ее и привезти и взять себе заработок? Отчего у нас крестьянин, у которого трое или четверо сыновей и есть достаток, не отдаст одного или двух в

высшие школы? Пусть бы один готовился быть чиновником или священником, или учителем, второй пусть бы учился какому-нибудь ремеслу, третий - другому: земля велика, - с знанием, да с полезным умением, коли не найдешь себе занятия здесь, так получишь его на краю света. Смотрите на меня: выучился я мастерству, и вот теперь получаю хорошие барыши изо дня в день, а дел у меня столько, что подчас не принимаю заказов, потому что не в силах справиться все как следует. Хорошего мастерового, в каком бы захолустье он ни жил, люди сами найдут и дадут ему заработать. Не знай я мастерства, - чтоб я имел? Бедствовал бы, как и все дьячки наши бедствуют. Теперь же от пашни и мастерства имею хлеб насущный, а дьячеством служу Богу и православным христианам". Потому он постоянно, бывало, твердит: "Дети, учитесь! Прежде всего учитесь грамоте, потому что без грамоты будете темные и слепые. А потом учитесь: кто может высшей науке тот высшей, а у кого нет на

то ни головы, ни способов, - какомунибудь полезному ремеслу Не полагайтесь на одну пашню: придет время, когда пашня будет не в силах всех прокормить". И в самом деле, к тому нынче идет. Народу, Бог дал, прибавилось, а земли не прибавляется: напротив, везде ее стало меньше - чего не отхватили паны-помещики, то выманивают "подпанки" и евреи. Где прежде сидел один хозяин, там нынче их четверо, а то и больше... Лет каких-нибудь через двадцать бедность у нас будет страшная, оттого что мы все на одну только землю оглядываемся. В нашем роде, милый внучок, так не делали. Вот я, к примеру, тоже трех сыновей своих выучил и вывел в люди. Нынче из пяти сынов моих один - чиновник, один - капитан в войске, один - каретник, один - женатый хозяйничает на стороне, но знает кузнечное ремесло, и один остается хозяином на моем месте, на отцовской нашей земле, но обучен на всякий случай плотницкому и столярному мастерству, Да, великая мудрость и благо нашего

народа в том еще, мой милый, заключается, чтобы мы отнюдь не полагались на одну лишь землю. Что я от деда своего перенял и от родителя, да что сам дознал опытом на всем долгом веку своем, то и тебе передаю, дорогой мой. Потому запомни себе хорошенько, еще вот что: Первое. Будешь жениться, - не гонись слишком за приданым. Есть оно, - слава Богу, а как нет, - помни, что у Господа Бога больше остается, чем роздано: хватит у него и на твою долю. Старайся только взять ту, к кому лежит твое сердце. Знаешь пословицу: "Есть при чем быть и что есть, да не при ком сесть". Имей ты хоть сотни тысяч, когда нет милого сердечного друга - любезной женоушки в доме твоём, все тебе будет немило, не будет у тебя охоты трудиться, вся жизнь твоя будет с горем да с бедой, и можешь даже впасть во всякие искушения. Когда станешь выбирать себе жену - друга и товарища на всю жизнь, поспроси сначала ум твой и сердце. Ум скажет тебе: достойна ли она быть женою, любит ли она Бога, любит ли

молитву, службу Божью, работающа ли, хозяйственна ли, любит ли чистоту в избе, во дворе, в одежде, в белье, во всем. А сердце свое спроси: твоя ли она? Когда я был парнем, многие подсватывали мне своих дочек, всякий хвалился своим богатством, всякий сулил большое приданое. Но покойный родитель, - дай ему, Боже, царство небесное! - говорил мне: "Все это, сынок, пустое: не приданое, не деньги принесут тебе счастье, а добрая и милая жена!" И я женился на бедной сироте, но на той, которую полюбил всем сердцем не за красоту только лица и стать, а и за красоту ее душевную. И Бог послал мне в ней и друга верного да милого, и хозяйку добрую, сердечную, работающую, неутомимую, сметливую, какую желаю иметь тебе и всякому доброму христианину В доме моем всегда было тихо, мирно, дружно, любо - на всем почивало Божье благословение. Не знал я, друг, сколько у меня напасено холста, сколько на дворе птицы всякой: она и детушек обихаживала, она и в избе, она и

в амбаре, и везде у ней все сияло чистотой и опрятностью; она и в коровнике и во всем хозяйстве душа и голова была. Шестьдесят лет мы прожили друг с другом, что твои голубки; жизнь промелькнула, как один красный день. Бывало, ежели случится уехать куда-нибудь дня на два, на три, то как не вижу ее, все душа тоскует и рвется домой. И так бывало не в молодости только, а еще более под старость, потому что истинная любовь никогда не старится и с годами только крепнет. То же и она, когда меня нет дома, уснуть, бывало, не может, все молится, чтобы со мной не случилось беды какой, чтоб я благополучно доехал и вернулся; ждет не дождется меня, рассчитывая каждый час, каждую минуту. А как не придешь, бывало, в свое время, - в дороге-то едучи, не разочтешь всего, она уж поминутно выбегает да выбегает за ворота да все смотрит - не еду ли я. И когда, бывало, вернешься домой, самому иногда смешно станет, как она на радостях начнет рассказывать тебе про все

подробно, точно мы с ней год целый не видались. Теперь я бедняк стал, не от кого мне уж ни уезжать, ни уходить; никто уж меня не пожалеет, никто не позаботится припасти и приготовить то, что я люблю, никто не скажет ласкового, сердечного слова... - Тут у старого покатились по лицу крупные слезы, и он примолк на минуту, потом встал и вышел в сени, чтобы там, наедине, выплакаться вволю. Николай тем временем начал перелистывать Псалтырь, и, будто нарочно, священная книга раскрылась ему на псалме 127: Блужены вси боящиеся Господа, ходящие в путех его: труды плодов твоих снеси: блажен еси, и добро тебе будет. Жена твоя яко лоза плодovита в странах дому твоего: сынове твои яко новосаждения масличная окрест трапезы твоея. Прочитав это место, он подумал: "Подлинно так прожил жизнь дед Онуфрий. Кабы и мне так Бог послал!" Вернулся Онуфрий в избу, увидел Псалтырь в руках Николая, сел подле него и говорит:

- Покажи-ка, что читаешь.

- Да вот, - отвечает Николай, - тот псалом, что дьячки поют при венчании.

- Прекрасный псалом, и тебе следовало бы выучить его наизусть: скоро ведь и ты пойдешь под венец, ежели найдешь себе подругу по сердцу, чего я тебе от души желаю.

- Прекрасный псалом, - повторил за ним Николай, - да я не все в нем понимаю. Сначала понимаю; хорошо человеку, когда он боится Бога, трудится и пожинает плоды трудов своих. Но вот чего я не понимаю: Жена твоя яко лоза плодовита в странах дому твоего. Что это значит? Онуфрий. Лоза - это не та лоза, что растет у нас по лугам и дает прутья, из которых плетут корзины. Лозой в Священном Писании называется виноградный куст. Потому слова эти надо понимать так: когда ты будешь бояться Бога, будешь жить по Божьи, Бог благословит тебя домовитою женой, которая с детками своими будет красоваться в доме твоём, точно великолепный виноградный куст, покрытый гроздьями сладких, сочных

ягод. Дети-то ведь у матери - то же самое, что гроздья на виноградной лозе, - не правда ли? Николай. А дальше: Сынове твои так новосаждения масличная окрест трапезы твоя. Что такое новосаждения масличная. Онуфрий. Этого я тоже не понимал, нарочно ходил спрашивать покойного отца Андрея Левицкого, и он мне вот что объяснил: в теплых краях, да тоже и в земле еврейской, где жил святой сочинитель псалмов, царь и пророк Давид, растут оливы, или дерево масличное, ветвями и листвой похожее на нашу вербу: Дерево то дает ягоды, похожие на наши вишни. Когда ягоды созреют, их собирают, кладут в мехи и потом из ягод этих выжимают оливковое масло. Значит, новосаждения масличные не что иное, как молодые оливковые деревца. Николай. Ну, толкуй теперь дальше, дедушка, что мне еще делать? Онуфрий. Как женишься, да Господь благословит тебя детками, смотри, чтоб они воспитаны были у тебя понастоящему, по христиански, чтобы вышли из них умные, честные и

настоящие русские люди, У добрых родителей хороши бывают и дети, но не всегда. Зачастую родители слишком любят детей и чрез то становятся неспособны дать им доброе воспитание. Видал я и таких. Был у меня тут сосед - человек хороший вполне, а дети вышли никуда негодны, оттого именно, что родители слишком их любили. Ребенку бы встать пораньше... "Ах, нет, как можно будить! Он еще мал, пусть поспит, понежится, - делать-то ему еще нечего!" Подростло дитя, как раз бы и за грамоту приниматься, - не посылают в школу: "Пусть подрастет, он еще мал, слаб!" А через год или два: "Он уже, - говорят, перерос". Так проходят самые лучшие для учения годы: ребенок растет в праздности, неучем, а матушка на него не надышится: "Какой полненький, красивенький, соколик мой ненаглядный!" Соколику все позволено и все можно. Где пиры, кутежи, - он тут; где непотребные речи болтают, срамные песни поют, - он тут; соколик перекреститься не умеет, "Отче наш" не знает, про заповеди уж и не

спрашивай, а водку пить, табак курить, пьяные песни орать - первый. Вернется соколик из кабака, пьяный, - батюшка с матушкой сами его раздевают, разувают: "Ничего! Молод ведь он у нас еще, неразумен, дитяtko, - нешто мы сами молоды не были?" А тем временем соколик ни за какое дело не берется, на уме у него совсем другое: чем дальше в возраст, тем хуже лежебока и пьяница становится. Пропивает, наконец, соколик трудовое добро родительское, срамит седину старых отца с матерью, и перед смертью дождались-таки они, бедные, что их соколика за уворованную лошадь водили по Львову в кандалах!.. Бывают, правда, и такие родители, что не заслуживают имени родителей, - такие, что мучают детей, бьют, морят голодом, будто детям своим - враги лютые. Это тоже скверно. Разумное христианское воспитание детей в том состоит, чтобы их любить, да не баловать, чтобы с малых лет располагать их к книжному учению, к труду, к работе, приучать к чистоте,

опрятности и порядку, к терпению, к повиновению, к уважению старших. Упаси Боже, чтобы дитя с ранних лет привыкло к лени, потому что таким оно останется уже на всю жизнь, а праздность - мать грехов, как старики говаривали. До трех лет ребенок может спать, сколько хочет, но с четвертого года надо уж будить его по утрам на молитву, не жалея и без поблажки, потому что, привыкнув вставать рано, он будет и здоровее, и сильнее, и веселее, и давать ему уже какую-нибудь работу: приучившись трудиться с малолетства, он всю жизнь будет охоч ко всякому делу. Как обходиться с челядью, с работниками и работницами - ты знаешь: я уже рассказывал тебе, как дед-покойник на этот счет учил меня. Но я забыл сказать еще одно: никогда не бери в работники того, кто сам имел хозяйство да прогорел. Коли своего добра не уберег, так твоего и подавно жалеть не станет Хата твоя - ничего, порядочная, но я все-таки советовал бы тебе: как припасешь

немного денег; поставь себе новую, просторную. Добрая хата - здоровье, а темная, холодная, сырая хата - болезни. Избу и все, что в ней, держи в опрятности, какая только тебе под силу. Чистота в доме и на дворе - краса и честь хозяина и хозяйки. В доме твоём, само собою, на первом месте, в красном углу, должны быть святые иконы - не какая-нибудь базарная работа богомазов, а хорошо написанные образа: Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя Николая и другие, смотря по достатку. Эти святые иконы будут напоминать тебе, что дом твой не языческий, а православный, и что в нем и ты сам и вся семья твоя находятся как бы в самой церкви пред святым иконостасом. И как в церкви ты побоялся бы сказать нечистое, гнилое слово, так и в доме, ежели точно ты христианин, ты взглянешь на икону - и удержишься от него; как в церкви нечестного и злого дела ты бы не сделал, так и в доме пред святыми образами ты должен бояться учинить что-либо нечестное, нехристианское. Второе,

что у тебя в доме должно быть непременно, это - часы, как я уже тебе говорил, и по ним ты должен располагать все свои занятия и работы. Иногда полезно знать час и в ночное время: порядочный хозяин должен и ночью вставать, посмотреть скотину - здорова ли, потому что по ночам с домашними животными подчас случаются разные неприятности. У меня в доме есть фонарь, и всякую ночь я непременно встаю, обхожу хлев, конюшню, сараи, риги и не ложусь, пока не удостоверюсь, что все в порядке. Третья вещь, без чего нет порядку в хозяйстве, это книжка, куда записывается всякий малейший доход и всякая малейшая издержка. Без такой записи не будешь хорошим хозяином, потому что не будешь знать, что стоит тебе всякая вещь и всякое дело. Твой покойный родитель не завел тебе сада, - теперь у вас на дворе всего только одна дикая груша. Помни, что ты непременно должен развести сад из саженцев. Тот год, когда ты не посадишь плодовых саженцев, будет год

потерянный. Старайся, чтобы в садике у тебя были и вишня, и черешня, и крыжовник, и всякая всячина. Отыщи местечко и для цветника: посади себе в нем несколько кустов прекрасной розы, посе́й душистых и лечебных трав, а на солнечном припеке, в тихом месте, - виноград. Окопай все сам и рассаживай, и поливай своими руками, и твори все с молитвой да с Господом Богом. А когда вырастет да зацветет, присматривайся к красоте всякого цветка и всякой былинки и, работая в садике своем, прославляй Отца небесного, сотворившего все на пользу и на утеху нашу. Насчет скотины скажу тебе лишь немного. Ни в конюшне, ни на скотном дворе не должно быть у тебя животин плохих или даже кое-каких. Коли заводишь что-нибудь, заводи хорошее, доброй породы. Хороша ли скотина, плоха ли, - все равно без корму не живет, да та разница, что хорошую и кормить хорошо - есть из-за чего, а плохая больше съест, чем сама стоит или ее работа. Мой покойный дед был человек

умный из ряду вон, и у него мы все учились, как жить на свете да вести хозяйство, а вот что он рассказывал нам о том, как сам добился хорошей скотины. У нас теперь, ты знаешь, лошади хорошей породы: всякий год я продаю их пары две, а то, даст Бог, и три, да никогда не получаю за пару меньше трехсот рублей, был даже один случай, что мне за пару заплатили чистыми денежками пятьсот пятьдесят рублей. Отчего ж такая цена? Оттого, что лошади у нас хорошей породы или, как говорится, хорошей крови. Прежде бывало, у нас тут во всей округе не увидишь хорошей лошади, - все малорослые, с пороками, слабосильные. Но дед мой, покойник, как только прослышит, бывало, что распродают где-нибудь добрые лошади с завода, - сейчас на торги. Раз продавали тут неподалеку с молотка конский завод и стадо одного арендатора, и в них крепко полюбились деду жеребая кобылица и две коровы. Еврей-барышники вогнали уж было цену ее во сто рублей (в старину это

были большие деньги), но дед решил не уступать, - накинул еще рубль; евреи дают больше, он больше евреев; евреи еще набавляют, он не отстает. Долго тянулся ожесточенный торг, но дед все-таки увел к себе кобылицу за сто тридцать четыре рубля серебром. Две коровы стали ему тоже не дешевле сотни. С этой кобылицы мы и разжились; от нее от одной выросло у нас двенадцать лошадей, и мы никогда уже с ней не расставались. Когда она состарилась и не могла работать, дед и отец уволили ее в "чистую отставку", а корм и уход оставили прежние до самой смерти, хотя она уж и не работала. Отец и дед говаривали про нее: "Это старушка - мать наша, и не годится продавать ее, чтоб кто-нибудь, пожалуй, еще еврей какой-нибудь бездушный, мучил ее, бил и морил голодом". Так и от тех двух коров дождались мы хорошей рогатой скотины, так и овец и свиней держали не кое-каких, а всегда самой лучшей породы. Всякая скотинка любит уход; чтобы конюшня и хлев были теплые, стойла сухие и

опрятные, чтобы всякая животина в своей час была накормлена. Скребница да щетка скорее дадут тело лошади, чем овес. Давай лошади овса и сена сколько съест, да если кожа у ней покрыта коростой и паршой, на ногах грязь и подседы, а под ней в стойле сыро и неопратно, - она все-таки будет тощая и слабосильная. Напротив, скармливай ей овса и сена поменьше, да давай корм всегда в свое время и не жалея труда на чистку и опрятность, - она будет держать тело, не будет болеть, будет вынослива в работе, так же точно и рогатая скотина. У нас не в обычае чистить рогатую скотину скребницей и щеткой: крестьянин наш много-много уж коли и лошадку-то свою почистит горстью соломы перед большим праздником, а про корову или вола и говорить нечего. Но дед приучил нас к тому, что всякая скотина должна была быть вычесана и выхолена всякий день, будь то лошадь, корова, нетель или малый теленок. В страдную, бывало, пору - пропасть спешной работы в поле; казалось

бы, и некогда, а у нас все вычищено и все блестит так, что залюбуешься нехотя. Вот мы говорим про свинью, будто эта животное от природы уж любит грязь и нечистоту, а дед сказывал: "Неправда, она любит чистоту больше всех". Оттого свиньи каждую неделю у нас моются; сначала водою с мылом, а потом - чистою; попробуй и ты так делать и удивишься сам, когда увидишь, как при одинаковом корме свинья мытая и чищенная до году вдвое перерастет неопрятную. Я это испытал и переиспытал. Когда боров откармливается в тесном помещении, надобно позаботиться о хорошей подстилке и опрятном содержании, тогда он откормится скорее и меньше на него пойдет зерна. Скотину всячески жалей и береги. Эта тварь ничего не может сказать, но она понимает - кто ей друг и кто враг. Хорошего и милостивого хозяина скотина любит и верно ему служит, а жестокого боится и, терпя от него дурное обращение и побои, только укоризненно смотрит на него, как будто желая сказать: "Так вот

что ты за человек! Так вот каков у тебя ум, какова душа!" Истинно говорю тебе, внучек, я не могу видеть, как какой-нибудь бездушник употребляет во зло власть свою над скотиной, - как он не кормит ее, не напоит впору, не почистит, а требует от нее работы сверх силы, да притом еще ругает, клянет, бьет куда ни попало. Оттого иногда несчастная тварь заартачится да и ни с места, хоть ты ее зарежь, как будто желая этим сказать своему хозяину немилостивому: "Бей меня сколько хочешь, убей уж меня лучше сразу, чем так тиранствовать!" Но Бог таких людей обыкновенно наказывает: работать у них всегда нечем, приходится нанимать и соху, и борону, и телегу - за то, что не умели поберечь скотинушку. Итак, люби и береги своих животных, как помощников в работе. Всякий день осмотри каждую скотину особо - здорова ли и имеет ли все, что ей нужно; поласкай ее, потому что она это любит, поговори с ней, потому что ей приятно, когда хозяин окликнет ее ласковым словом, хотя она и не понимает

твоей речи, но понимает доброту твою - она прижмется к тебе, полижет, значит, поцелует тебя. Кнут пусть будет в руках твоего работника, но не на теле твоей скотины, исключая редкие случаи крайней нужды. Я много езжу и всегда еду без бича, как хочу: скоро - так скоро, тихо - так тихо; лошади мои знают мой голос и понимают, как я хочу ехать: стегануть лошадь кнутом у меня не хватает духу. Коли в гору, -- сойду с телеги и пускаю лошадей тихим шагом; добравшись до вершины, даю им отдышаться, а на ровном месте погоняю, - оттого у меня никогда не бывало лошади с палом или обезноженной. Случается, что иногда лошадь выйдет с пороком, неудачная: такую я продаю, но никогда не обманываю, а всегда говорю покупщику вперед, какой у нее порок, и отдаю ее дешево, чтобы купивший на меня не мог пожаловаться: обман - грех пред Богом и позор пред людьми. А насчет земли да пашни я скажу тебе то, что сам испытал в долгий век свой. Во-первых, не жалея

труда для твоей пашни, Лучше меньше посеять на хорошо обработанной почве, чем много, да не так, как следует. Посеешь на хорошо вспаханной, очищенной от сорной травы пашне, - соберешь жатву прекрасную; а посеешь как-нибудь, - не соберешь иной раз и семян, и труды твои пропадут даром. Во-вторых, вложи в землю - возьмешь из нее с прибылью. Поскупишься для нее навозом - она скупко оплатит труд твой жатвою. Не искушай Господа и не говори: "Коли Бог даст, и так уродится". Бог даст, но Он не любит давать лентяю и лежебоке. Бог дает тем, кто, молясь Богу, работает, не покладая рук. Особенно наказываю тебе, имей заботу о сенокосах. Они у тебя отличные, да содержатся без толку. Они слишком сыры, их надобно обвести кругом канавой. А как придет весна, возьми железные грабли, лопату и кирку, да не поленись сравнять на них хорошенько все кочки и содрать где какой есть мох. Мох на лугу то же, что парша на живом теле: он убивает рост травы, потому что не

допускает солнца до ее корней. Я так исправляю свои луга: посыпаю их золой и мелким перегнившим навозом, да кроме того, каждый год выкапываю сорные травы. Приедешь какнибудь ко мне, пойдём вместе в поле и на луг, и там я расскажу тебе подробно, как что я делаю. Об этом много можно было бы еще поговорить, но пора уж оканчивать нашу беседу про вторую волшебную траву. А третья трава называется умеренность и трезвость. Это такая прекрасная и полезная трава, что следовало бы посеять и развести ее по всему нашему русскому краю да и по всему свету. Семена этой травы посеяли было у нас наши консистории, и по их приказу священники крепко взялись было сначала возвращать их. По местам даже показались уже было прекрасные всходы, но мало-помалу они как-то зачахли, захирели, смешались с сорными травами, с бурьяном да чертополохом, и нынче бурьян и чертополох совсем их осилили. А если говорить яснее: пьянство в народе - почти

то же самое, что болезнь "рак" в человеке. А эта болезнь ужасная: появится неизвестно с чего в теле человека - и давай точить его, и давай запускать в него свои страшные корни все глубже да глубже. Искусным врачам удастся в иных случаях вырезать рак из тела и тем спасти больного, но чаще, почти всегда, наступает смерть в страшных муках... Оттого, как подумаю я о нашем народе, как посмотрю на его тяжкий труд, да опять на эти бесчисленные кабаки, корчмы и шинки, на эту его бедность и на эти его грехи и беззакония, что плодятся от кабаков, - так поверь мне, горькими слезами не раз плачу. Но однажды наша Церковь начала борьбу с пьянством, и консистории разослали священникам приказ: увещевать народ по всем приходам, чтобы люди заводили у себя Общества трезвости и умеренности. По всем городам и селам записывались бы желающие поименно в нарочно заведенные для того книги, да всякий приступающий к товариществу говел бы в

церкви, исповедался и причастился, а потом бы давал обет, кто как пожелает, или только на умеренное употребление водки и других охмеляющих напитков, или же и на полное от них воздержание. На призыв своих пастырей сразу откликнулось множество народа: по городам и селениям всюду зарекались пить, и много уж было таких приходо́в, где в Общества трезвости записались все жители поголовно. Обыкновенно давал обет сначала сам священник с семьей, далее зарекались старосты церковные и сельские дьячки и лучшие домохозяева, а потом мало-помалу примеру их следовали все прочие. И началась в народе новая жизнь, исчезли драки, буйство, воровство, много тюрем позакрыли - люди снова становились людьми! Но случилось по сказанному в Евангелии, в притче Спасителя о добром семени и плевелах. Хозяин сеял на поле своем доброе семя - пшеницу, но когда люди спали, - пришел враг его, дьявол - и насеял между пшеницей дурной травы - плевел, и

пшеница погибла, так и здесь. Священники наши учили: "Людихристиане, не пейте! Пьянство - ваша пагуба! Водка - корень всякому злу, причина несчастий ваших, бедности, нужды". И люди подумали: "Истина, святая правда!" - и послушались. Вышли из церкви - то же думали, домой пришедши, еще лучше сообразили, что священник добру учил по-настоящему, по-христиански; посоветовались между собою, еще подумали, - и стали ходить в церковь, каяться, исповедаться и зарекаться. Дьявол испугался, что священники задумали разрушить царство его, пораскинул тоже своим умом-разумом и говорит: "Не бывает тому, чтобы царство мое погибло; есть у меня помощники, они пособят насеять плевел между пшеницей, и из этих обетов да зароків ничего не выйдет". И сделал-таки посвоему? Хотя, надеюсь: придет время, когда народ наш опомнится и прозреет, и, как с Божией помощью вышел из барского рабства, так с Божией же помощью

выйдет и из худшего еще рабства еврейского, из рабства великой и немилостивой госпожи - водки. Нынче она великая госпожа! Скажи мне: чего не может сделать водка? Задумал человек убить человека, ближнего своего - без водки не хватит духу; хочет кто поджечь соседа, учинить другое какое злодейство - водка помощница; без водки не родится у нас человек, не повенчается, не умрет; без водки не ставится ни копна на пашне, ни стог на лугу; без водки и не купишь, и не продашь, - везде она первая и при всяком деле вершительница и советчица, и все люди, все города и села ей служат и на нее работают в поте лица. Поистине она великая госпожа: мы платим ей вдвое, втрое большую подать, чем Царю, да она и большую власть имеет, и царство ее больше, чем у самого Царя. Рассказывают, что проезжал как-то через наши края сам Царь и подивился тому, как бедно мы живем. И тогда, будто, один из министров, самый верный слуга его сказал такие слова: "Ваше величество! Земля эта - будет

богатейшая земля во всем вашем царстве, потому что почва в ней хорошая, плодородная и пастбищ, и лугов много, есть и лес, и соль, и железо, и всего что нужно вдоволь, - надо только дать народу грамотность и хорошие книжки, чтоб он не был темный. Но грамотности у него никак не может быть, покуда по корчмам сидят евреи, что портят, дурачат народ, спаивают его и отвращают от грамотности. Ведь еврей живет безграмотностью да темнотою народа! (выделено мною Б.В.П.) Коль хотите, Ваше величество, поднять народ из этой гибели, - повелите сначала завести семинарию для подготовки хороших священников, пусть обучаются в ней прилежно способнейшие из духовенства; а потом издайте указ, чтоб ни один еврей не смел торговать водкой в сельской корчме. Когда продажа водки из еврейских рук будет выхвачена, а из семинарий выйдет достаточно хороших и ученых священников, грамотность без труда распространится в народе, народ построит себе училища, просветится и

мало-помалу разбогатеет на славу". Царь сделал то и другое, завел семинарии и подписал указ, чтобы ни в одной корчме по всей Галичине евреи не смели продавать водки. Губернаторы огласили этот указ по всем городам и селениям, а евреи с панами стали думать да гадать: что тут делать? "Когда народ перестанет пить, а мы уйдем из корчмы, кому вы, паны, будете продавать водку?" А в старину было не так, как нынче, когда всюду проложили железные дороги, и пар передвигает тяжести на сотни верст в одни сутки. Нынче цена хлеба и водки ни в каком случае не может упасть так низко, как в оны времена, когда у пана-помещика, бывало, уродится отлично и пшеница и рожь, - собрал с поля, сложил в скирды: глядь, - покупателей-то и нету. "Покупай, жид, пшеницу", говорит пан, приехав в город. "А на что мне она? - отвечает еврей: - Здесь в городе и по деревням всякий имеет свою, - куда ж мне везти ее?" Хлеба бывало много, а сбыть его было нельзя, потому что в старину народу было

поменьше, земля отдыхала подолгу и родила хорошо. Тогда всякий имел хлеб на продажу: и помещик, и священник, и крестьянин. Я сам видел, как раз мужик привез к нам на посад шесть мер ржи, всех евреев-торгашей объездил с нею, никто и взглянуть на его товар не захотел. Что ж тогда было делать с хлебом? Вот помещики и перекуривали его в водку. А водку надобно было выпивать непременно у себя дома, потому что железных дорог повторю, не существовало, и нельзя было возить ее в дальние края, где цена была лучше. Оттого паны с евреями и распихивали ее, где только могли, и всякий еврей-корчмарь, бывало, не только подбивал народ на пьянство, но просто силой навязывал водку мужикам. Когда вышел упомянутый указ, чтоб евреи водкой не торговали, ужас обуял и евреев, и панов, и стали они вместе думать думу: как отвратить от себя беду эту? И порешили вот на чем: евреи остаются в корчмах попрежнему, только всякий корчмарь

должен зорко следить и знать непременно, когда чиновник едет в уезд осматривать корчмы. На время объезда еврей из корчмы исчезал, а при бочке с водкой шинкарем, будто бы хозяином заведения, становился христианин, тот самый, что и прежде заменял его в шинкарстве по субботам (когда ни один еврей не торгует). Евреи в уездном городе, проведая, когда уезжает чиновник и в какую сторону, давали о том знать по корчмам. Обыкновенно еврейчик какой-нибудь садился на лошадь и скакал от корчмы до корчмы с известием: "Завтра или послезавтра будет у вас чиновник, а то и сам губернатор", - и получал за это от содержателей плату по уговору. Приезжает чиновник или сам губернатор, заходит в корчму: "Кто здесь у вас содержатель?" "Я", - отвечает нанятый евреем шинкарь, и делу конец. Чиновник хоть и знал, что все это один обман, но зачем было ему слишком усердствовать, когда из корчмы его каждый раз любезно приглашали к пану-помещику; угощали там на славу, и по отъезде отправлялась к нему в город, в

подарок от радушного хозяина еще целая фура, нагруженная дикими козами, зайцами, кадками с маслом, салом, окороками и всякой подобной благодатью? Таким образом на бумаге значилось, что во всей Галичине ни в одной корчме нет содержателя-еврея, а на самом деле во всей Галичине не было ни одного содержателяхристианина. Словом, водка по-прежнему оставалась в руках евреев, точно острый меч на пагубу народа.(выделено мною Б.В.П.) Действовало духовенство наше против пьянства церковною проповедью, но народ не везде слушался доброго слова, - наука корчмарей больше приходилась по сердцу. Каменные корчмы множились по городам и селениям да при дорогах, и чем больше их строили, тем сильнее распространялась в народе бедность, порча нравов, воровство и всякие грехи. Конца и предела уж не было пьянству к тому времени, когда, точно голос свыше, разошлась в народе молва об Обществах трезвости и умеренности, когда

священники стали объяснять народу, что он стоит над бездной и увещевали его дать зарок не пить. Теперь именно я должен тебе объяснить, отчего эта трезвость и эти общества продержались недолго, и как случилось, что диавол помешал добрым начинаниям консистории и духовенства. Еще в то время, когда и слухов не было об Обществах трезвости, были между нашими священниками такие, что сами крепких напитков не употребляли, ненавидели пьянство, считали его главным врагом своего народа, всеми силами проповедовали против него в церкви и склоняли прихожан к трезвой жизни. Таков был и наш покойный отец Андрей Левицкий, но еще лучше оказался впоследствии сын его - Александр. Он был мой сверстник, с самого детства мы были с ним очень дружны, потому что вместе учились в школе при помойном Леоновиче, на одной лавке сидели. Постоянно вместе в детские игры играли и так подружились, что дня не могли

пробыть друг без друга. Александра отправили учиться во Львов, а я остался дома, - у дьяка уж доучивался Псалтыри и церковному уставу. Но когда он приезжал домой на праздники или на каникулы, я, бывало, всегда бегу встречать его далеко, и потом уж мы с ним не разлучались до нового отъезда его во Львов. Долго было бы рассказывать, как мы любили друг друга, точно родные братья, как мы вместе ловили рыбу, бродили по болотам за птицей, а потом, вышедши уж из детского возраста, работали вместе по хозяйству: на гумне, в огороде, в поле. Как он, бывало, рассказывал мне о том, что узнал в школе или из книг; когда мы иногда далеко за полночь просиживали вместе, читали, рассуждали. Потом Александр поступил в семинарию, окончил ее, должен был жениться и сделаться священником. Перед женитьбой и рукоположением приехал он погостить у родителей, и тут мы в последний раз провели вместе почти все лето. Александр нимало не возгордился от своей учености,

не переменял общения со мною, своим старым приятелем, и мы по-прежнему ходили вместе купаться, сушили сено, возили снопы и справляли всякие хозяйственные работы, потому что никакой работой он никогда не брезговал. Раз, день был жаркий, выкупались мы утром в реке и идем домой; поднялись на холмик за церковью, где и теперь стоит ветвистый дуб, и сели под ним отдохнуть. Оттуда наш посад виден, как на ладони, со всеми окружающими селениями.

- Прекрасный Божий мир! - сказал мой друг - Отчего люди не так добры, как прекрасен милый сердцу земной мир? Да, люди не стоят всего того, что Бог для них создал, не стоят этого Божьего мира! Один другого ненавидит, один другого обижает, один другого поедом ест, как щука малую рыбешку! Не так ли, Онуфрий?

- Похоже на то, - отвечаю.

- Видишь ты, вон там, это строение?

- Это винокуренный завод, - говорю.

- Это завод людской нужды и горя.

- Как так?

- Так именно. Люди трудятся без усталости, как муравьи, ночи прихватывают, и остаются нищими, потому что водка отнимает у кого половину плодов его работы, а у кого и все без остатка. Когда же свое спущено, такой отпетый и перед чужим не остановится. Отсюда грехи и позор. От водки у нас всякие лихие дела творятся, и вся беда происходит, и покуда народ не бросит проклятой водки, не будет у него добра, останется он вечным рабом. Пьешь ли ты водку, Онуфрий?

- Пью. А что?

- Я не пью. Оттого, что я ненавижу ее, оттого, что повсюду я встречаю бедных детишек - голых, босых, грязных, голодных... Вот отчего я ее ненавижу, вот отчего я ее в руки не возьму, - тело мое ее не принимает, как вора, разбойника, душегубца я не приму в дом, оттого что он недостойн моего гостеприимства.

- Александр, - рассказываю, - коли ты не пьешь, так и я не стану пить с нынешнего дня.

- Не будешь?

- Нет, не буду: у меня слово крепкое. Но тебя станут соблазнять!

- Никого я не послушаю. И я не обманул своего друга: с того дня я уже ни разу и в рот не брал водки, а когда стал хозяином, изгнал ее вовсе из своего дома. Я тоже считаю водку врагом и так же ненавижу ее, виновницу бедности, безграмотности, унижения и позора нашего дорогого русского народа, как искренно ненавидел ее незабвенный Александр. Разошлись мы в разные стороны, как люди обыкновенно расходятся: один - на запад, другой - на восток; но мы не перестали любить друг друга и сердцем всегда были вместе, - не было такого дня, чтоб я не вспомнил своего друга и сверстника. Он женился, рукоположился и получил приход далеко где-то, по ту сторону Днестра. Несчастный он был человек, несчастный оттого, что любил правду, всегда шел прямою дорогой, и никакая сила не могла своротить его с правого пути. Умер он в

молодых годах, - загрызли его лютые вороги; умер в бедности, оставив жену и пятерых сирот, но Господь их не оставил, - все они както выучились и стали людьми. Так за праведные дела отца Господь наградил детей. Перед смертью он написал мне письмо, которое я храню доселе на память об нем. Как кончу этот рассказ, дам тебе его прочесть. После того, как он уехал в свой приход за Днестр, не видались мы с ним годов с шесть; но в это время выходила у нас замуж сирота - внучка отца Андрея Левицкого, племянница отца Александра, и Александр приехал к ней на свадьбу. Была ранняя осень, погода стояла прекрасная, с лунными, как нынче помню, ночами. После венчания началось свадебное пиршество, - играла музыка, гости веселились, пели, как обыкновенно тогда водилось у нас в домах священников. В самый разгар праздника Александр подошел ко мне, взял под руку, мы с ним тихонько вышли и направились на холм за церковь, под дуб, о котором я

уже говорил. Там мы уселись друг подле друга, как старые приятели, и между нами начался разговор, который я хорошо помню, да и никогда уж не забуду.

- Я с трудом узнал тебя, - говорю, - Александр, до того ты изменился. Болен ты был тяжело, что ли?

- Был болен, брат, и продолжаю болеть - сердцем. Нынче свет таков стал, что те только живут припеваючи, у кого сердца нет, а мне Бог дал сердца больше, чем надобно, и вот я несчастен. Бедствую, тяжко бедствую!

- Бедствуешь? А я думал, что ты себе живешь, как у Христа за пазухой. Там у вас за Днестром край такой прекрасный, цветущий, веселый, земля хорошая, плодородная. Как могло случиться, что ты бедствуешь?

- Послушай - расскажу. Вы, миряне, думаете, что нет счастливее человека, как священник... Я и сам так думал, покуда не знал света и людей, но теперь все иначе вижу, - не так, как прежде. Ты знаешь, я уже на втором приходе?

- Отчего же? Первый тебе не понравился?

- Мне везде нравится, да не дают жить, где нравится, а гоняют с места на место, как преступника, и теперь, верно, уж придется мне так странствовать до тех пор, покада не успокоюсь на веки в могиле. Паны меня крепко невзлюбили и точат на меня зубы, а ты сам знаешь, что священники в их руках.

- За что же они прогневались?

- Расскажу по порядку Когда я был назначен на первый мой приход и поехал туда, осмотрел все: церковь, строения, огороды, землю и познакомился с людьми, - я молил Господа Бога: "Боже, аще воля Твоя, дай мне на этом месте и кости мои грешные сложить. Не хочу я больших недостатков: я хочу жить только для моих прихожан, хочу быть им наставником и путеводителем ко всему хорошему и доброму - земляца эта, мой и их честный труд пропитают меня". Пошел я с женой представиться помещику - попечителю моей церкви, он принял меня, как родного

брата, до крайности любезно и радушно, и просил меня обращаться к нему во всех нуждах. Лесничему тут же дано было приказание отпускать мне из барской рощи и дрова, и лес на постройки, а через несколько дней, смотрю, панские рабочие одни - пахут плугами, другие - засевают, третьи боронуют мое поле. "Господи, - благодарю я Бога со слезами, - за что Ты послал мне милость жить с такими добрыми людьми?" Вскоре помещик сам приехал навестить меня на новоселье, разузнал обо всем, чего у меня не хватает, поговорил, посидел, опять обещал мне свою помощь на обзаведение хозяйством, а при прощании пожал мне крепко руку и говорит: "Рука руку моет". Последние слова я как-то пропустил мимо ушей, а они, оказывается, имели особое значение. На следующий день приходят плотники, маляры, осматривают дом и принимаются за работу: перестроили нам жилье как нельзя лучше, где только что нужно было - все сделали! Жена моя всякий день ходит к панам в усадьбу: дружба, вишь, у нее с

помещицей пошла такая, что жить друг без дружки не могут! Скотинка моя пасется на помещичьем лугу по брюхо в траве; душа радуется смотреть, как они возвращаются домой сытые, гладкие, веселые. Чего же мне еще не доставало? Не житье, а прямо рай, настоящий рай! Но огляделся я получше, вижу - беда! Никто не умеет перекреститься как положено, никто не знает Отче наш, никто не слышал о заповедях. Одна водка, великая госпожа, простирает свое царство всюду - до самой убогой избы. Придет воскресный день, праздник, в церкви почти никого нет, а корчма спозаранку полнехонька. В полдень в нее уж не протолкнешься: играют на скрипках, пляшут, поют, гуляют, потом ссорятся, дерутся, судятся... Арендатор-еврей, с окладистой и длинной бородой, ходит важно, как барин, в атласном халате: у него в доме золото и серебро, за обедом щи и мясо, а крестьянин хлебает квас с луком, да отуманив голову вонючим перегаром, забывает о том, что он человек! Еврейская

кладовая битком набита закладами - гниет крестьянское добро из-за проклятой водки, а народ не может взять в толк, отчего это так. И всякий полагает, что так и должно быть, что иначе и невозможно. После первой же моей обедни в воскресный день я объявил, что будет вечерня и потом беседа. Проблаговестили к вечерне никто не пришел... Всего-то и народу в церкви: пономарь да дьячок, "Зачем вам напрасно трудиться, батюшка? - Говорит пономарь. - Тут народ к этому непривычен. У нас что воскресенье, что праздник какой, - всегда в корчме играют музыканты, и оттого ребята и девушки весь день там". В следующее воскресенье я опять после обедни говорю, чтобы собирались к вечерне и на беседу - и опять церковь пустехонька: пришла одна какая-то девушка. Я рад и этому, учу ее одну. Девушка ушла из церкви счастливая, что умеет уже правильно перекреститься и выучилась прочесть как следует молитву Царю Небесный. В третье воскресенье у меня на беседе уж шесть человек, в

четвертое - двенадцать, в пятое полцеркви. Учю со всем усердием, молодежь слушает меня с охотой и отвечает толково. Радуюсь, как невесть чему, на душе у меня такая благодать, такое веселье, - больше, чем если бы кто подарил мне кучу денег. Но недолго продолжалась моя радость. В то же воскресенье была жена моя в гостях у помещицы. Вдруг прибегают еврей-арендатор из корчмы, Янкель, и прямым к помещику: "Вельможный пан! Вы не знаете тут, что у нас делается!.. Делается то, что никогда не бывало! Ай-вай! Это грабеж, это разбой, это ужас, что такое! Я аренду плачу, я музыкантам плачу, а весь народ в церкви! Это никогда не бывало! Это новый, совсем новый закон какой-то! Ежели так пойдет дальше, аренда не будет стоить половины теперешних денег; а мы с вами, вельможный пан, таки, извините, оба останемся в дураках! Ай-вай! Зачем учить мужика? Тьфу! Кому это нужно?"

- Ведь у тебя, любезный Янкель, семь дней в неделе, сказал помещик. - Эти два-

три часа не принесут большого убытка.

- Вельможный пан, - отвечал Янкель, низко кланяясь, - вы умный человек, вы сами знаете: эти часы в воскресенье стоят мне дороже всей остальной недели! Ей-богу, по совести говорю, ежели у меня отнимут эти часы - аренда не стоит половины денег!

- Ну, ну, - говорит пан, - успокойся, Янкель, я поговорю со священником.

- Пожалуйста, поговорите! Я бедный еврей, так шутить не годится! Еврей ушел, и тут у барина с моей женою начался разговор в таком роде: Янкель, мол, совершенно прав - он может разориться, а аренда корчмы приносит имению чистого дохода полторы тысячи рублей. Зачем учить мужика? Он до тех пор только и хорош, куда остается темным. Как только мужик выучится, он не станет слушать ни барина, ни священника, перестанет работать, разленится, и всем будет худо - и пану, и священнику, и ему самому, мужику. Так говорили барин, барыня и бывший у них гость какой-то, а

жена моя, по простоте, во всем им поддакивала. Порешили на том, что жена уговорит меня не созывать более народ на собеседование, и любезный пан сказал ей на прощание, что приглашает батюшку в следующее воскресенье после обедни пожаловать к нему - позабавиться игрой в карты. Приходит жена моя домой и рассказывает мне все это. "Ну так как же? - спрашивает, пойдешь к ним в воскресенье?"

- Нет, - отвечаю - не пойду, не могу пойти. Пойду в церковь.

- А знаешь ли, чем это пахнет?

- Знаю: потерей панских милостей. Правда, хорошо, очень хорошо нам здесь жить с этими милостями. Но скажи мне, милая, зачем я здесь? На то ли меня здесь поставили, чтоб я удерживал народ в невежестве, в безнравственности, в диких, бессмысленных нравах и обычаях и во всех мерзких грехах, или же на то, чтобы я старался извлечь его из этой тьмы, старался растолковать всем, как они должны жить и что делать, если хотят

быть людьми, а не скотиной, жить для Бога, для себя и для души своей, а не для пана, еврея и водки? При этих словах жена затряслась вся от страха: "Недолго же мы с тобой были счастливы, недолго! Пропала теперь моя бедная головушка!" И верно, чуяло беду ее сердце: с того дня мы оба стали несчастны. Но что мне было делать? Иначе поступать я не мог!

- Маша, - говорю, - не плачь: у сирот есть Бог Он нас не оставит! Вижу уж, что нам не жить здесь, но есть и еще помещики - не такие, как здешний, который из грязи - в князи, а настоящие дворяне, сердцем помягче, душой поблагороднее: найдем где-нибудь другой приход. А пойти на попятный я не могу, это бы меня убило. Отрекшись из-за панских милостей от своего долга, я не смел бы поднять глаз пред прихожанами, стыдился бы малого ребенка.

- А вот другие живут же с панами мирно и благоденствуют!

- И я тоже хочу жить мирно: но я ведь не лезу в его помещичьи дела, так и он не

смеет распоряжаться у меня в церкви.

- Ты погубишь нас, погубишь! Тебя зашлют в какойнибудь беднейший приход!

- Так оно и будет. Но скажи мне, дорогая, разве все наше русское крестьянство, а хоть бы и эти тысяча двести душ моих прихожан, Господь Бог создал для панов и евреев? Разве они затем живут на Божьем свете, чтобы их луженые глотки еврей и пан причисляли к своим верным доходам? И я должен смотреть на это спокойно, должен сказать: "Да, вы не люди: стало быть, вы и не христиане?" Но этими словами я не мог переменить ее мыслей. На другой день она едет жаловаться на меня своим родителям. Приезжают тесть с шурином и жестоко пробирают меня. Тесть, старик "опытный", говорит:

- Александр, мы все понимаем, но надобно иметь ум. Помолчи немного, посиди смиренно.

- Да и чего ты этим добьешься? - заговорил шурин. Того только, что на твое место пришлют другого, незнакомого, и

народ хуже еще, пожалуй, станет пьянствовать. Ты себя погубишь, а преемник твой, может быть, человек недостойный, получит отличное место, - вот и весь итог твоей затеи. Так они меня загоняли, так измучили, что я обещал им быть в воскресенье у помещика и играть в карты. Тесть с шурином уехали, жена успокоилась, опять все стало ладно. Но совесть моя не успокоилась, - нет, на душе еще тяжелее стало. На другой день ранехонько приходит сам господин Янкель, мужчина видный, осанка важная, - таких евреев мне редко доводилось видеть. Остановился у порога, поклонился почтительно и окинул меня взглядом с ног до головы.

- Что скажете хорошего? - спрашиваю.

- Меня зовут Янкель, я у здешнего помещика держу в аренде корчму вот уж, в добрый час вымолвить, тридцать лет кряду. Я был у пана: они приказали низко вам кланяться и просят, чтобы ваше преподобие новых уставов не вводили.

- Каких новых уставов?

- Да насчет беседований, батюшка! Через это я несу большие убытки, и не столько я, сколько сам пан. Ведь вам известно - аренда дает пану полторы тысячи рублей, а как мужик будет сбит с толку да не станет гулять по воскресеньям, с кого выручишь такие деньги?

- А вы, евреи, что делаете в субботу? Тоже ходите в корчму пить да гулять, или сидите дома, читаете книги, учитесь?

- Ай-вай! Вы, батюшка, такой ученый и разумный человек, а приравняли нас, евреев, к мужику! Евреи - деликатный народ, а мужик, - ну что такое мужик? Все равно, что скот! Вы его не выучите, потому что его не для этого Бог сотворил.

- Для чего же его Бог сотворил?

- Для того, чтоб он работал на пана и на вас. Ну а зачем вам ученый народ? Он так и разбогатеть может. Ай-вай! Оборони Бог и нас, и вас от богатого народа! Мужик до тех пор только хорош, покуда беден. Когда он беден, он кланяется, и все

с ним сделаешь, что нужно. Ежели б он, сохрани Бог; стал богат, разве он пошел бы к вам работать? То и хорошо, что народ беден и любит водку. За водку мужик и спашет, и сожнет, и скосит, и смолотит, и все сработает. Тут вошла жена и дернула меня за рукав, чтоб я вышел в другую комнату Там она устремила на меня свои кроткие глаза и говорит:

- Александр! Ты, я вижу, вдался уж в ненужные разговоры с Янкелем. Не забудь, что ты обещал вчера!

- Не тревожься, - отвечаю, - будь покойна: как уж решил, так и сделаю. Вернулся к Янкелю:

- Ну, хорошо, ступайте себе домой, я побываю у барина. Еврей поклонился и вышел. В тот самый день явились ко мне жених с невестой просить повенчать их. Я велел им приходиться говеть и повторять молитвы, да принести записку из экономии: тогда ведь без дозволения помещика нельзя было венчать его крепостных. Вечером приходит отец жениха, кланяется и говорит:

- Я пришел к вам, батюшка, заявить, что из нашей свадьбы может еще ничего и не выйдет: с Янкелем нет никакого сладу.

- Какого сладу?

- Да насчет водки, батюшка!

- Вздорожала, что-ли?

- Нет, не вздорожала, батюшка, да Янкель с меня уж слишком много ее требует. Целых двенадцать ведер! А я мужик бедный. И денег столько нет и продать нечего. Есть одна коровка, да она больно тоща - какая ей цена нынче! Продать - и на Янкеля деньжонок не хватит. Есть два бычка, да тех нельзя продавать: на них я барщину отрабатываю.

- Зачем же тебе двенадцать ведер? Возьми одно, ну... два, - будет с тебя!

- И я так говорю, да не дадут записки.

- Какой записки?

- Вчера я был в экономии, там велели отправиться к Янкелю и принести от него записку с печаткой, что мы с ним уже сошлись, сколько взять водки. У нас так заведено. Пришел я к Янкелю, а он поставил мне двенадцать ведер. Как мы

его ни просили, как ни плакали, и я, и жена, и сват, - ничего не получилось: бери, говорит, двенадцать ведер - и кончен бал, - и полведерка не сбавил!

- Вот как! Ступай, еще проси!

- Напрасно, батюшка, напрасно! Я уж не то, что просил, я у него в ногах валялся, чтоб хоть что-нибудь сбавил; да Янкель все подсмеивается только надо мной, да и все жида смеялись.

- Ну что ж я тут тебе подделаю? Без записки мне венчать нельзя!

- Ох, доля ты наша бедная, горемычная! - заплакал мужик, подошел под благословение и ушел. У меня тоже покатались слезы. Ведь это рабство, настоящее рабство! О, бедный ты, родимый народ наш! Доколе ты будешь страдать?.. Назавтра приходят жених с невестой повторять молитвы.

- Ну, что, - спрашиваю, - есть записка?

- Есть, - отвечает парень со вздохом, да не дешево стала! Продали корову, - не хватило, заложили кораллы. Теперь матушка плачет, - на свадьбе будет без

кораллов. Так плачет, так причитает, что хоть вон беги из избы. Ну, да что же было делать! Пришло воскресенье; после обедни я уж не оповещаю о беседе, но народ сам спрашивает. Отвечаю, что нынче я приглашен в усадьбу. Один Бог знает, каково было у меня на душе, но нечего было делать. Под вечер иду с женой в усадьбу - играть в карты. Но у меня в мыслях все проклятая записка, Янкель, и то, как наш бедный крестьянин, живущий на своей родимой русской земле, хозяин в своей хате, кланяется в ноги некрещенному прищельцу-еврею, и тот еще смеется, издевается над ним! Не могу забыть, как бедный человек единственную свою коровенку; что всю его семью кормила, должен был гнать на базар и отдавать там за половину цены, как жена его закладывает у того же Янкеля последние кораллы, на которые весь век работала, чтобы украсить ими лик свой, - из-за чего? Из-за мерзкой, треклятой водки; из-за того, чтобы Янкель с паном царствовали!

- Что-то наш батюшка невесел, - говорит барин.

- И я то же замечаю, - отозвалась барыня, - что батюшка что-то не в духе, будто сам не свой. Здоровы ли вы?

- Простудился немного и схватил насморк, - говорит жена. А я сижу в барском кресле, точно на горячих угольях.

- Ведь лучше, не правда ли, проводить время здесь с нами, - продолжала барыня, - чем убивать здоровье с этими хамами? Ведь это скоты, быдло! К чему им эти ваши собеседования, ученье? Батюшка хотел бы их сделать людьми, но это напрасный труд. Я не возразил ни слова, но чувствую, что кровь бросилась мне в голову и сердце, как молотом, застучало в груди. Таково было мое веселье у пана на картах! Когда вечером мы пришли домой, жена не могла выжать из меня ни единого слова. Мне стыдно стало перед самим собою, что я - священник, пастырь, бросил свою паству, забыл свой долг и пошел туда, где совсем иные понятия о Боге, о человеке, о

моем возлюбленном народе! Да самого утра я проворочался с боку на бок в постели и ни на одну минуту не мог забыться сном. В голове стучит, как на мельнице, горячка прожигает до костей... Так - один день, другой и третий, - хожу, как больной: сам себе опротивел. В субботу вбегает ко мне отец жениха, весь заплаканный:

- Ох, батюшка, благодетель, отец духовный! Великое несчастье! Что мы станем делать, бедные?

- Что случилось? - Спрашиваю.

- Я, батюшка, сами уж знаете, сошелся с Янкелем на двенадцати ведрах: дал ему деньги, заложил кораллы, и взял водку. Привез в бочке домой, поставил в клетки бережно, подложивши под бочку бревно, да покрывши ее и сверху и с боков холстами, одежей, мешками, как обыкновенно это делается, чтобы вино не усыхало. Стоит оно себе так со вторника, вдруг, слышим, - по избе будто винный дух пошел. Что же такое! - Смекаем себе: В клетки в бочке водка, отчего ж не быть в

избе духу? Ну и успокоились и посмотреть не потрудились. Нынче утром вышла хозяйка из избы, а оно и на дворе водкой пахнет! Пошла она по тому духу да и завязла в какой-то жиже - а жижа-то эта от водки! Мы - к бочке: пустехонька! Жид, нехристь, бочку-то дал с червоточиной - водка, почитай, вся и вытекла! Батюшки, голубчики, что теперь делать?

- Ну, тут уж я твоему горю не лекарь - ничем помочь не могу!

- Да вот что, батюшка: вы их уж завтра же и повенчайте, а то вся водка вытечет Мы замазывали ее, дыру то, и салом, и золой, и всем, чем кто ни советовал, - течет все да течет, ни что не помогает! Ходил я к Янкелю, рассказываю ему, что он с нами сделал, разбойник, а он мне на это: "Надо было, говорит, - свою бочку привозить, коли моя нехороша!" И еще смеется: "После этого, - мол, записки тебе не дадут: надо еще прикупить водки.

- А записки у вас так и нет еще?

- Обещали выдать! Да не выдали.

- Ну так как же я венчать стану?

Ступайте опять к пану, постарайтесь получить от него записку. А за водкой не гонитесь - пропадай она пропадом! Потерял ты из-за нее и корову, и деньги, - ну и будет с тебя. Да так оно, пожалуй, и лучше: меньше будет пьянства, меньше греха. Схватился бедняк за голову и ушел, обливаясь слезами. Вечером он опять у меня: записки не выдали, велели взять у Янкеля еще три ведра. Это возмутило меня. По просьбе прихожанина я написал в экономию, умоляя сжалиться над бедными людьми и не чинить им препятствия. Оттуда получил короткий ответ: "Прошу не вмешиваться в дела моих крепостных и не принимать на себя обязанности их защитника. Священнику принадлежит право венчать, экономии - выдавать или не выдавать дозволения". Еще две овцы ушли на водку, и с того дня нога моя не была больше у помещика. Скотину мою стали прогонять с панского пастбища, мельник получил приказ не принимать на размол моего хлеба, хоть я имел на это законнейшее право, лес для топлива

отводили мне самый худший и на таких местах, куда ни проехать, ни пройти было невозможно. Рабочие волю мои и коровы стали падать от бескормицы, чинились мне всякие пакости и напасти, и, наконец, поехал барин к митрополиту и сказал, будто я у него народ бунтую! Короче говоря, на приход мой был назначен священник, про которого Янкель наперед разузнал достоверно, что он "очень разумный человек". И вправду он был очень разумный человек, да что об этом говорить! Пришлось нам уезжать в позднюю осень, Филипповым постом, в самое бездорожье, грязь и слякоть. Вещи наши промокли и попортились, я сам простудился, - кашляю с тех пор и хвораю постоянно. На новом месте я нашел пустыню: дом без крыши, покосившийся от ветхости, хозяйственных построек никаких; в церкви беспорядок, в приходе пьянство, воровство, нищета. Словом, сказать, бедствую, Онуфрий, тяжело бедствую!.. Вот что рассказал мне тогда друг мой, и жгучая боль охватила мое

сердце, когда я увидел, что такая чистая душа столько терпит за народ свой. С того прихода опять его перевели, и так до шести раз перетаскивался он с места на место, разорился окончательно и потерял здоровье. На пятнадцатом году священства дали ему, наконец, казенный приход в Горах. Тут бы можно ему успокоиться и отдохнуть, да пришла смерть. На вот, прочти письмо, которое прислал он перед самой кончиной. Читай вслух... Николай. "Дорогой друг мой! Знай, что когда ты будешь читать это письмо, я буду уже в лучшем мире, где не дойдут меня ни паны, ни жидаы, ни водка. Много страдал я в этом мире, но не раскаиваюсь, что служил Богу и ближним, хотя чувствую себя в долгу пред детьми моими. Я не оставляю им наследства, не оставляю вообще ничего, кроме моего благословения, чтобы они верно и нелицемерно служили своему народу, ведя его к познанию Бога и правды, как старался служить ему я. Правда, силы мои были слишком слабы, и царство тьмы и

греха победило; но придет час, когда народ познает Бога и поймет самого себя, умудрится, отрезвится и добьется своей чести и своего счастья, Ежели чрез неделю не получишь от меня другого письма, - помолись о душе моей: это будет знак, что тело мое уже в могиле. Обнимаю тебя сердечно и благословляю жену твою и детей. Твой навеки Александр!" По лицу Онуфрия полились слезы - чистые и непритворные, как чиста и непритворна была дружба, соединившая этих людей. Несколько времени он не мог говорить; Николай тоже тихо плакал. Наконец, старик продолжил рассказ:

- Всякий раз, когда я читаю это письмо, я не могу не плакать. Но мы с тобой заговорились и отошли от настоящей сути нашей беседы - трезвости и умеренности. Ну, понимаешь ли ты теперь, отчего наши Общества трезвости не удержались, несмотря на указ консистории и на то, что священники, не все правда, но почти все, имели горячее и твердое желание вырвать народ из

страшного рабства водки? Николай. Понимаю, дедушка, теперь понимаю. А какая еще четвертая трава? Онуфрий. Про четвертую траву, про труд, много бы стоило поговорить: это вещь очень важная. Слушай же и старайся запомнить каждое мое слово. Господь Бог каждому из нас дал какую-нибудь особенную способность: одному - к науке, другому - к искусству какому-нибудь, третьему - к ремеслу, четвертому - к сельскому хозяйству, пятому - к пчеловодству и так далее. Но честь и заслуга человека пред Богом в том состоит, чтобы всякий из нас всеми силами и всею душою предан был тому делу, к какому имеет способность. Подлинно, скажи сам: не диво ли, что человек ухитряется при помощи пара ездить по земле и по морю, что нынче этот пар двигает мельницы, заводы, фабрики и всякие чудеса творит на свете? Слыхано ли, чтобы молотилку можно было возить в поле, да ею там в один день не только целый скирд обмолачивать, но еще и само зерно отлично отвеять,

очистить, отделить хорошее от к плохого, так что бери прямо и ссыпай в амбар! Каким образом человек додумался до того, чтобы при дорогах понаставить столбов, нацеплять на них от одного к другому железных проволок, да и пересылать по ним вести с быстротой молнии из конца в конец света? Вот что значит труд! Ведь человек трудится не только руками, но и головой: думает и передумывает, как бы сделать что-нибудь умное и полезное, как бы с меньшими силами сделать большую работу, как бы плохое улучшить, малое умножить и увеличить, как бы наилучше воспользоваться тем, что Бог дал. Один что-нибудь придумает, другой ума своего приложит, третий обоих поправит - и выходит дело полезное для всех. Так и другие народы трудятся: работают и руками и головой, выдумывают, иначе сказать, изобретают хитрые орудия, машины и всякие приспособления, пишут книги, учат друг друга и все дальше идут. Ну да труд труду рознь! Что в том, что

наш крестьянин работает из сил выбиваясь, когда в труде его подчас нет никакого смысла, когда труд его не приносит никакой пользы?.. Ну вот, к примеру: на базар везут и ведут все, что у кого есть: хлеб, свиное сало, корову; лошадь. Стоят наши возы с хлебом и картофелем, и у немцев-колонистов тоже - с хлебом, с картофелем; наши женщины с маслом и молоком - и немцы с маслом и молоком. Являются покупатели, но каждый походит сначала к немцу, хоть немец свой товар продает дороже нашего крестьянина. Хлеб у немца чистый, сухой, отвеянный на веялке. Немец постыдился бы выехать на торг с хлебом невеянным, нечищенным: у всякого немца на гумне есть опрятный ток, есть непременно веялка; хлеб он всегда провеет в веялке раз и два, хорошее зерно везет на базар, а плохое оставляет дома для лошадей, для скотины, птицы оттого хлеб у него полновесный и идет по хорошей цене. А наш мужик везет сор, да такая ему и цена! Евреи так и говорят: немецкий хлеб

панский, а русский - мужицкий. Как только немка покажется в городе с корзинкой, где у нее творог и масло, барыни сейчас же заступают ей дорогу: товар у нее из рук рвут, потому что у немки масло желтое, душистое, глядеть любо. А наша баба со своим маслом ходит по всему городу, просит, набивается, покупатель видит, что оно белое, как мел, на вкус горькое, пересоленное, и не берет. Это не выдумка, это сущая правда! Вот мы и видим: немец работает, и наш мужик работает, но не такова работа немца, как работа нашего, и не таков товар немецкий, как наш. Немка ухаживает за коровой изза молока и масла, и наша крестьянка ухаживает, да прок-то у них выходит разный. Есть и у нас, я знаю, хорошие хозяева и хозяйки, но их, правду сказать, очень мало. Конечно, летом, в страду народ наш действительно работает, потому что знает: ежели не поработать, придется погибать с голоду. Но в другое время куда лучше его поймешь: скажем, если приглядишься к работам общественным или сгонным. Как

придет зима, да заметет дороги, да сгонят народ расчищать снег (не даром, а за плату), ты стань себе поодаль в сторонке и присмотрись. Тогда увидишь, что на работу, которую и один сработал бы, вышло десятеро, а то, что сработали бы десятеро, делает сотня человек, потому что не работают, а лишь торчат весь день на морозе. Насилу-насилу то один, то другой нагнется: но приглядись, как он поднимает лопату, как кидает снег, как ему приятнее мерзнуть, чем шевелиться за делом, как он кряхтит, стонет, после каждой лопаты отдыхает, да опять с четверть часа стоит, пока надумается, в какое место снова запустить лопату... Насмотришься на все это и подумаешь, что из такого народа ничего путного выйти не может, разве ежели только Сам Господь Бог вдохнет в него новый дух и просветит его, потому что он как был рабом, так и остается. Он еще не свободный человек, а раб, который тогда лишь работает, когда чувствует над собой палку: а как нет палки - нет у него и чести,

и он не стыдится простоять весь день без дела и потом протягивать руку за платой! И все это оттого, думается, что у нашего народа веками образовался нрав: не заботиться о том, что будет завтра, лишь бы прожить как-нибудь нынешний день. Потому что прошлые, старые времена подлинно были ужасные. Народ страдал от крепостной неволи, а тут еще житья не было из-за постоянных нашествий: то татары, то поляки, то немцы, то турки, то шведы какие-нибудь еще... Спроси эти могильные курганы, что усеяли нашу землю и прикрывают собою татарские, турецкие да и наши русские кости. Они скажут тебе: "Страшно было жить во времена, когда по этим краям рыскали орды татарские". Ты видал, может быть, саранчу и знаешь, как она спустится темною тучей на нивы, в одну ночь сожрет все до последнего колоса, до последней былинки, поднимется утром и улетит, а на ее месте остается одна черная земля. Такими же бесчисленными тучами налетали на нас в старину татары: убивали

или уводили народ в полон, в рабство, грабили все без пощады, а чего не могли забрать и увезти с собой, то жгли и истребляли, оставляя за собой полное безлюдье, голую пустыню. Но вот схлынул татарский потоп, - народ, кто сумел спастись, укрываясь в лесах, в делях, в тростниках, в неприступных болотах, возвращается на оставленные пепелища. Что ему было делать? Бедный селянин сколачивал себе на скорую руку какую-нибудь хижину, вроде шалаша, да так и жил, потому что всякому невольно думалось: зачем строить хорошую избу, заботиться о хозяйственном обзаведении, трудиться, издерживать последние гроши, когда, быть может, через месяц, через полгода, через год, снова нахлынет татарва, да все это выжжет и разграбит? А ведь татары хозяйничали в нашей русской земле не год и не два, а около трехсот лет! Оттого-то в народе нашем и сложился нрав: жить одним днем, хватило бы только на сегодня, а завтра - как Бог даст. Мы смотрим на немцев и удивляемся тому,

что у них дома и строения просторные, что у каждого на дворе колодец, при доме садик, но и у них тоже такая уж эта привычка от дедов и прадедов. Каким образом? А таким, что когда нас губили, разоряли, жгли -немцы сидели в своей земле, как у Христа за пазухой, жили да поживали, да добро наживали. Даже позднее, лет двести тому назад, когда турки пришли к самой Вене, немцы с ними не могли справиться, и наш народ опять-таки пролил свою кровь для того, чтобы немцам было покойно. Легко теперь им смеяться над нашим невежеством, над нашей бедностью; легко немецким колонистам заводить у себя всякие хорошие порядки, когда они не знали татарских нашествий, и наша же славянская рука спасла их от ига, вроде того, под которым мы страдали целые века. Но следует с горечью признать: труда, работы все мы боимся и стыдимся. У нас обычай, что ремесленником должен быть непременно, если не немец, то поляк, а торговцем - еврей, оттого мы как бы и

не народ: горожане у нас все больше евреи или другие чужеплеменники; русский же умеет только постародавнему орудовать сохой да еще кое-как выходит в учителя и священники. Оттого мы и бедны, что все барыши попадают у нас в чужие руки, и нашим трудом обогащаются иноплеменники. Между тем как наибольшую честь свою мы должны полагать в труде, в работе, и всякий добрый отец в нашем русском крестьянстве, когда у него есть дети и достаток, должен стараться выводить их в ремесленники, в купцы, дабы в нашей земле мало-помалу завелось свое русское городское сословие ремесленники и торговцы. Поотстали мы, правда, крепко поотстали, но при доброй воле да при усердном труде все наверстаем. Не погибнет народ наш. Он опомнится, оставит свой пьяный нрав, просветится, примется усердно за труд земледельческий, за ремесла, торговлю и всякие другие полезные занятия, и, даст Бог, когда-нибудь мы возьмем верх над

чужеплеменниками. Для всего этого нужны только благословение и помощь Божья, ум, трезвость усердие и твердый дух, чтобы нам устоять на своем пути и не убояться никаких неудач и препятствий. Этим задушевным желанием, милый внук, я и покончу мою беседу о тех четырех травах. Возвращай и ты эти травы усердно. При этих словах Онуфрий встал, поднялся и Николай. Старик осенил себя крестным знаменем и, обратившись к иконе Спасителя, начал молиться:

- Всемогущий Боже, сотворивший небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным русским народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил! Спаситель мира, Иисусе Христе, отверзший очи слепорожденному, открой глаза и нашему русскому народу, дабы он познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым и честным! Дух Святой, Утешитель, в пятидесятый день сошедший на апостолов, приди и вселися

в нас! Согрей святою ревностью сердца духовных пастырей наших, дабы свет Божественного учения разлился по земле русской, а с ним и снизошли на нее и все блага земные и небесные! Аминь. Так всегда будем молиться: не о себе только, но обо всем нашем дорогом народе, и Бог услышит нашу молитву и даст нам, чего просим. Тут конец нашего с тобой разговора. Храни тебя Господь!